

Отец Горио

Автор:

Оноре Бальзак

Отец Горио

Оноре де Бальзак

«Отец Горио» – один из самых знаменитых романов Бальзака, вошедших в цикл «Человеческая комедия». Основные события романа происходят в Париже, в пансионе мадам Воке, запрятанном в нижней части улицы Нев-Сент-Женевьев, где за небольшую плату проживают малозаметные, потрепанные жизнью люди. На чердаке этого пансиона влачит свое жалкое существование главный герой романа папаша Горио – некогда преуспевающий торговец хлебом. Подобно королю Лиру он потратил почти все свое состояние на воспитание любимых дочерей. Обеспечив каждую богатым приданным, он оставил себе лишь небольшую сумму, в надежде на то, что всегда сможет найти у них любовь и поддержку. Но его надежды рассыпались прахом. Удачно выйдя замуж и став светскими дамами, дочери стали стыдиться своего отца и вспоминали о нем лишь тогда, когда нуждались в деньгах. Постепенно Папаша Горио отдал им все, что у него было, и остался ни с чем. Он стал посмешищем всего пансиона, жильцы презирали его, и лишь один, бедный студент Эжен де Растиньяк, смотрел на старика с сочувствием...

Оноре де Бальзак

Отец Горио

Великому и знаменитому Жоффруа де Сент-Илеру[1 - Жоффруа Сент-Илер Этьенн (1772–1844) – естествоиспытатель, кумир Бальзака; именно он выдвинул ту дорогую сердцу Бальзака теорию, согласно которой «есть только одно живое существо», которое «получает свою внешнюю форму или, точнее говоря, отличительные признаки этой формы в той среде, где ей назначено

развиваться».] в знак восхищения его работами и гением.

Де Бальзак

Престарелая вдова Воке, в девицах де Конфлан, уже лет сорок держит семейный пансион в Париже на улице Нев-Сент-Женевьев, что между Латинским кварталом и предместьем Сен-Марсо[2 - Сен-Марсо – парижский квартал на левом берегу Сены, один из беднейших кварталов Парижа.]. Пансион, под названием «Дом Воке», открыт для всех – для юношей и стариков, для женщин и мужчин, и все же нравы в этом почтенном заведении никогда не вызывали нареканий. Но, правду говоря, там за последние лет тридцать и не бывало молодых женщин, а если поселялся юноша, то это значило, что от своих родных он получал на жизнь очень мало. Однако в 1819 году, ко времени начала этой драмы, здесь оказалась бедная молоденькая девушка. Как ни подорвано доверие к слову «драма» превратным, неуместным и расточительным его употреблением в скорбной литературе наших дней, здесь это слово неизбежно: пусть наша повесть и не драматична в настоящем смысле слова, но, может быть, кое-кто из читателей, закончив чтение, прольет над ней слезу *intra muros et extra*[3 - В стенах города и за его стенами (лат.)]. А будет ли она понятна и за пределами Парижа? В этом можно усомниться. Подробности всех этих сцен, где столько разных наблюдений и местного колорита, найдут себе достойную оценку только между холмами Монмартра и пригорками Монружа[4 - ...между холмами Монмартра и пригорками Монружа... – то есть между северной и южной окраинами Парижа.], только в знаменитой долине с дрянными постройками, которые того и гляди, что рухнут, и водосточными канавами, черными от грязи; в долине, где истинны одни страдания, а радости нередко ложны, где жизнь бурлит так ужасно, что лишь необычайное событие может здесь оставить по себе хоть сколько-нибудь длительное впечатление. А все-таки порой и здесь встретишь горе, которому сплетение пороков и добродетелей придает величие и торжественность: перед его лицом корысть и себялюбие отступают, давая место жалости; но это чувство проходит так же быстро, как ощущение от сочного плода, проглоченного наспех. Колесница цивилизации в своем движении подобна колеснице с идолом Джагернаutom[5 - Идол Джагернаут – статуя индийского бога Вишну; во время ежегодных процессий ее возили на колеснице, и верующие бросались под ее колеса, чтобы в новой жизни перейти в высшую касту.]: наехав на человеческое сердце, не столь податливое, как у других людей, она слегка запнется, но в тот же миг уже крушит его и гордо продолжает путь. Вроде этого поступите и вы: взяв эту книгу холеной рукой, усядетесь поглубже в мягком кресле и скажете: «Быть может, это развлечет

меня?» – а после, прочтя про тайные отцовские невзгоды Горио, покушаете с аппетитом, бесчувственность же свою отнесете за счет автора, упрекнув его в преувеличении и осудив за поэтические вымыслы. Так знайте же: эта драма не выдумка и не роман. All is true[6 - Все правда (англ.). – цитата из трагедии Шекспира «Генрих VIII».], – она до такой степени правдива, что всякий найдет ее зачатки в своей жизни, а возможно, и в своем сердце.

Дом, занятый под семейный пансион, принадлежит г-же Воке. Стоит он в нижней части улицы Нев-Сент-Женевьев, где местность, снижаясь к Арбалетной улице, образует такой крутой и неудобный спуск, что конные повозки тут проезжают очень редко. Это обстоятельство способствует тишине на улицах, запряганных в пространстве между Валь-де-Грас[7 - Валь-де-Грас – парижский госпиталь; Пантеон – здание, строившееся во второй половине века как церковь Святой Женевьевы, но во время Революции превращенное в усыпальницу великих людей; при Наполеоне возвращено католической церкви, а после Июльской революции 1830 г. было провозглашено храмом Славы.] и Пантеоном, где эти два величественных здания изменяют световые явления атмосферы, пронизывая ее желтыми тонами своих стен и все вокруг омрачая суровым колоритом огромных куполов. Тут мостовые сухи, в канавах нет ни грязи, ни воды, вдоль стен растет трава; самый беспечный человек, попав сюда, становится печальным, как и все здешние прохожие; грохот экипажа тут целое событие, дома угрюмы, от глухих стен веет тюрьмой. Случайно зашедший парижанин тут не увидит ничего, кроме семейных пансионеров или учебных заведений, нищеты и скуки, умирающей старости и жизнерадостной, но вынужденной трудиться юности. В Париже нет квартала более ужасного и, надобно заметить, менее известного.

Улица Нев-Сент-Женевьев, – как бронзовая рама для картины, – достойна больше всех служить оправой для этого повествования, которое требует возможно больше темных красок и серьезных мыслей, чтобы читатель заранее проникся должным настроением, – подобно путешественнику при спуске в катакомбы, где с каждой ступенькой все больше меркнет дневной свет, все глуше раздается певучий голос провожатого. Верное сравнение! Кто решит, что? более ужасно: взирать на черствые сердца или на пустые черепа?

Главным фасадом пансион выходит в садик, образуя прямой угол с улицей Нев-Сент-Женевьев, откуда видно только боковую стену дома. Между садиком и домом, перед его фасадом, идет выложенная щебнем неглубокая канава шириной в туаз[8 - Туаз равнялся 1,9 м.], а вдоль нее – песчаная дорожка,

окаймленная геранью, а также гранатами и олеандрами в больших вазах из белого с синим фаянса. На дорожку с улицы ведет калитка; над ней прибита вывеска, на которой значится: «ДОМ ВОКЕ», а ниже: Семейный пансион, для лиц обоего пола и прочая. Днем сквозь решетчатую калитку со звонким колокольчиком видна против улицы, в конце канавы, стена, где местный живописец нарисовал арку из зеленого мрамора, а в ее нише изобразил статую Амура. Глядя теперь на этого Амура, покрытого лаком, уже начавшим шелушиться, охотники до символов, пожалуй, усмотрят в статуе символ той парижской любви, последствия которой лечат по соседству. На время, когда возникла эта декорация, указывает полустершаяся надпись под цоколем Амура, которая свидетельствует о восторженном приеме, оказанном Вольтеру при возвращении его в Париж, в 1778 году:

Кто б ни был ты, о человек,

Он твой наставник, и навек.[9 - Кто б ни был ты, о человек... – Это двустилишие, сочиненное Вольтером, характерно для французской легкой поэзии XVIII века, в которой амуры и любовь играли главную роль.]

К ночи вход закрывают не решетчатой дверцей, а глухой.

Садик, шириной во весь фасад, втиснут между забором со стороны улицы и стеной соседнего дома, который, однако, скрыт сплошной завесой из плюща, настолько живописной для Парижа, что она привлекает взоры прохожих. Все стены, окружающие сад, затянуты фруктовыми шпалерами и виноградом, и каждый год их пыльные и чахлые плоды становятся для г-жи Воке предметом опасений и бесед с жильцами. Вдоль стен проложены узкие дорожки, ведущие под кущу лип, или липп, как г-жа Воке, хотя и родом де Конфлан, упорно произносит это слово, несмотря на грамматические указания своих нахлебников. Меж боковых дорожек разбита прямоугольная куртина с артишоками, обсаженная щавелем, петрушкой и латуком, а по углам ее стоят пирамидально подстриженные плодовые деревья. Под сенью лип врыт в землю круглый стол, выкрашенный в зеленый цвет, и вокруг него поставлены скамейки. В самый разгар лета, когда бывает такое пекло, что можно выводить цыплят без помощи наседки, здесь распивают кофе те из постояльцев, кто достаточно богат, чтобы позволить себе эту роскошь.

Дом в четыре этажа с мансардой выстроен из известняка и выкрашен в тот желтый цвет, который придает какой-то пошлый вид почти всем домам Парижа.

В каждом этаже пять окон с мелким переплетом и с жалюзи, но ни одно из жалюзи не поднимается вровень с другими, а все висят и вкривь и вкось. С бокового фасада лишь по два окна на этаж, при этом на нижних окнах красуются решетки из железных прутьев. Позади дома двор шириною футов в двадцать, где в добром согласии живут свиньи, кролики и куры; в глубине двора стоит сарай для дров. Между сараем и окном кухни висит ящик для хранения провизии, а под ним проходит сток для кухонных помоев. Со двора на улицу Нев-Сент-Женевьев пробита маленькая дверца, в которую кухарка сгоняет все домашние отбросы, не жалея воды, чтобы очистить эту свалку, во избежание штрафа за распространение заразы.

Нижний этаж сам собою как бы предназначен под семейный пансион. Первая комната, с окнами на улицу и стеклянной входной дверью, представляет собой гостиную. Гостиная сообщается со столовой, а та отделена от кухни лестницей, деревянные ступеньки которой выложены квадратиками, покрыты краской и натерты воском. Трудно вообразить себе что-нибудь безотраднее этой гостиной, где стоят стулья и кресла, обитые волосяной материей в блестящую и матовую полоску. Середину гостиной занимает круглый стол с доской из черно-кrapчатого мрамора, украшенный кофейным сервизом белого фарфора с потертой золотой каемкой, какой найдешь теперь везде. Пол настлан кое-как, стены обшиты панелями до уровня плеча, а выше оклеены глянцевитыми обоями с изображением главнейших сцен из «Телемака» [10 - «Телемак» (изд. 1699) - нравоучительный роман французского проповедника Фенелона.], где действующие лица античной древности представлены в красках. В простенке между решетчатыми окнами глазам пансионеров открывается картина пира, устроенного в честь сына Одиссея нимфой Калипсо. Эта картина уже лет сорок служит мишенью для насмешек молодых нахлебников, воображающих, что, издеваясь над обедом, на который обрекает их нужда, они становятся выше своей участи. Камин, судя по неизменной чистоте пода, топится лишь в самые торжественные дни, а для красы на нем водружены замечательно безвкусные часы из синеватого мрамора и по бокам их, под стеклянными колпаками, - две вазы с ветхими букетами искусственных цветов.

В этой первой комнате стоит особый запах; он не имеет соответствующего наименования в нашем языке, но его следовало бы назвать запахом пансиона. В нем чувствуется затхлость, плесень, гниль; он вызывает содрогание, бьет чем-то мозглым в нос, пропитывает собой одежду, отдает столовой, где кончили обедать, зловонной кухмистерской, лакейской, кучерской. Описать его, быть может, и удастся, когда изыщут способ выделить все тошнотворные составные его части - особые, болезненные запахи, исходящие от каждого молодого или

старого нахлебника. И вот, несмотря на весь этот пошлый ужас, если сравнить гостиную со смежною столовой, то первая покажется изящной и благоуханной, как будуар.

Столовая, доверху обшита деревом, когда-то была выкрашена в какой-то цвет, но краска уже неразличима и служит только грунтом, на который наслоилась грязь, разрисовав его причудливым узором. По стенам – липкие буфеты, где пребывают щербатые и мутные графины, поддонники из жести со струйчатым рисунком, стопки толстых фарфоровых тарелок с голубой каймой – изделие Турнэ. В одном углу поставлен ящик с нумерованными отделениями, чтобы хранить, для каждого нахлебника особо, залитые вином или просто грязные салфетки. Тут еще встретишь мебель, изгнанную отовсюду, но несокрушимую и помещенную сюда, как помещают отходы цивилизации в больницы для неизлечимых. Тут вы увидите барометр с капуцином, вылезавшим, когда дождь уже пошел; мерзкие гравюры, от которых пропадает аппетит, – все в лакированных деревянных рамках, черных с золочеными ложками; стенные часы, отделанные рогом с медной инкрустацией; зеленую муравленую печь; кенкеты[11 - Кенкеты – масляные лампы, усовершенствованные в 1782 г. женевским физиком и химиком Арганом.] Аргана, где пыль смешалась с маслом; длинный стол, покрытый клеенкой настолько грязной, что весельчак-нахлебник пишет на ней свое имя просто пальцем, за неимением стилоса; искалеченные стулья, соломенные жалкие циновки – в вечном употреблении и без износа; затем дрянные грелки с развороченными продушинами, с обуглившимися ручками и сломанными петлями. Трудно передать, насколько вся эта обстановка ветха, гнила, щелиста, неустойчива, источена, крива, коса, увечна, чуть жива, – понадобилось бы пространное описание, но это затянуло б развитие нашей повести, чего, пожалуй, не простят нам люди занятые. Красный пол – в щербинах от подкраски и натирки. Короче говоря, здесь царство нищеты, где нет намека на поэзию, нищеты потертой, скарёдой, сгущенной. Хотя она еще не вся в грязи, но покрыта пятнами, хотя она еще без дыр и без лохмотьев, но скоро превратится в тлен.

Эта комната бывает в полном блеске около семи часов утра, когда, предшествуя своей хозяйке, туда приходит кот г-жи Воке, вспрыгивает на буфеты и, мурлыча утреннюю песенку, обнюхивает чашки с молоком, накрытые тарелками. Вскоре появляется сама хозяйка, нарядившись в тюлевый чепец, откуда выбилась прядь накладных, неряшливо приколотых волос; вдова идет, пошмыгивая разношенными туфлями. На жирном, потрепанном ее лице нос торчит, как клюв у попугая; пухлые ручки, раздобревшее, словно у церковной крысы, тело, чересчур объемистая, колыхающаяся грудь – все гармонирует с залой, где

отовсюду сочится горе, где притаилась алчность и где г-жа Воке без тошноты вдыхает теплый смрадный воздух. Холодное, как первые осенние заморозки, лицо, окруженные морщинками глаза выражают все переходы от деланой улыбки танцовщицы до зловещей хмурости ростовщика, – словом, ее личность предопределяет характер пансиона, как пансион определяет ее личность. Каторга не бывает без надсмотрщика – одно нельзя себе представить без другого. Бледная пухлость этой барыньки – такой же продукт всей ее жизни, как тиф есть последствие заразного воздуха больниц. Шерстяная вязаная юбка, вылезшая из-под верхней, сшитой из старого платья, с торчащей сквозь прорехи ватой, воспроизводит в сжатом виде гостиную, столовую и садик, говорит о свойствах кухни и дает возможность предугадать состав нахлебников. Появлением хозяйки картина завершается. В возрасте около пятидесяти лет вдова Воке похожа на всех женщин, выдавших виды. У нее стеклянный взгляд, безгрешный вид сводни, готовой вдруг раскипятиться, чтобы взять дорожку, да и вообще для облегчения своей судьбы она пойдет на все: предаст и Пишегрю и Жоржа[12 - Жан-Шарль Пишегрю (1761–1804) и Жорж Кадудаль (ум.1804) – монархисты, готовившие покушение на жизнь Бонапарта; оба были выданы полиции доносчиками; генерала Пишегрю удавили в тюремной камере, выходца из крестьян Кадудаль казнили.], если бы Жорж и Пишегрю могли быть преданы еще раз. Нахлебники же говорят, что она, в сущности, баба неплохая, и, слыша, как она кряхтит и хнычет не меньше их самих, воображают, что у нее нет денег. Кем был г-н Воке? Она никогда не распространялась о покойнике. Как потерял он состояние? Ему не повезло, – гласил ее ответ. Он плохо поступил с ней, оставив ей лишь слезы, да этот дом, чтобы существовать, да право не сочувствовать ничьей беде, так как, по ее словам, она перестрадала все, что в силах человека.

Заслышав семенящие шаги своей хозяйки, кухарка, толстуха Сильвия, торопится готовить завтрак для нахлебников-жильцов. Нахлебники со стороны, как правило, абонировались только на обед, стоивший тридцать франков в месяц. Ко времени начала этой повести пансионеров было семь. Второй этаж состоял из двух помещений, лучших во всем доме. В одном, поменьше, жила сама Воке, в другом – г-жа Кутюр, вдова интендантского комиссара времен Республики. С ней проживала совсем юная девица Викторина Тайфер, которой г-жа Кутюр заменяла мать. Годовая плата за содержание обеих доходила до тысячи восьмисот франков в год. Из двух комнат в третьем этаже одну снимал старик по имени Пуаре, другую – человек лет сорока, в черном парике и с крашеными баками, который называл себя бывшим купцом и именовался г-н Вотрен. Четвертый этаж состоял из четырех комнат, из них две занимали постоянные жильцы: одну – старая дева мадемуазель Мишоно, другую – бывший фабрикант

вермишели, пшеничного крахмала и макарон, всем позволявший называть себя папаша Горио. Остальные две комнаты предназначались для перелетных птичек, тех бедняков-студентов, которые, подобно мадемуазель Мишоно и папаше Горио, не могли тратить больше сорока пяти франков на стол и на квартиру. Но г-жа Воке не очень дорожила ими и брала их только за неимением лучшего: уж очень много ели они хлеба.

В то время одну из комнат занимал молодой человек, приехавший в Париж из Ангулема изучать право, и многочисленной семье его пришлось обречь себя на тяжкие лишения, чтоб высылать ему на жизнь тысячу двести франков в год. Эжен де Растиньяк, так его звали, принадлежал к числу тех молодых людей, которые приучены к труду нуждой, с юности начинают понимать, сколько надежд возложено на них родными, и готовят себе блестящую карьеру, хорошо взвесив всю пользу от приобретения знаний и приспособляя свое образование к будущему развитию общественного строя, чтобы в числе первых пожинать его плоды. Без пытливых наблюдений Растиньяка и без его способности проникать в парижские салоны повесть утратила бы те верные тона, которыми она обязана, конечно, Растиньяку – его прозорливому уму и его стремлению разгадать тайны одной ужасающей судьбы, как ни старались их скрыть и сами виновники ее, и ее жертва.

Над четвертым этажом находился чердак для сушки белья и две мансарды, где спали слуга по имени Кристоф и толстуха Сильвия, кухарка.

Помимо семерых жильцов, у г-жи Воке столовались – глядя по году, однако же не меньше восьми – студенты, юристы или медики, да два-три завсегдатая из того же квартала; они все абонировались только на обед. К обеду в столовой собиралось восемнадцать человек, а можно было усадить и двадцать; но по утрам в ней появлялось лишь семеро жильцов, причем завтрак носил характер семейной трапезы. Все приходили в ночных туфлях, откровенно обменивались замечаниями по поводу одежды или облика нахлебников со стороны, по поводу событий вчерашнего вечера, беседуя запросто, по-дружески. Все эти семеро пансионеров были баловнями г-жи Воке, с точностью астронома отмерявшей им свои заботы и внимание в зависимости от платы за пансион. Ко всем этим существам, сошедшимся по воле случая, применялась одна мерка. Два жильца третьего этажа платили всего лишь семьдесят два франка в месяц. Такая дешевизна, возможная только в предместье Сен-Марсо, между Сальпетриер и Бурб[13 - В Сальпетриерер в 1819 году, когда происходит действие романа, располагалась клиника для душевнобольных, а четыремя годами позже здесь

устроили женскую богадельню; Бурб (от фр. boue – грязь) – народное название одного из парижских родильных домов.], где плата за содержание г-жи Кутюр являлась исключением, говорит о том, что здешние пансионеры несли на себе бремя более или менее явных злополучий. Вот почему удручающему виду всей обстановки дома соответствовала и одежда завсегдаев его, дошедших до такого же упадка. На мужчинах – сюртуки какого-то загадочного цвета, обувь такая, какую в богатых кварталах бросают за ворота, ветхое белье, – словом, одна видимость одежды. На женщинах – вышедшие из моды, перекрашенные и снова выцветшие платья, старые, штопанные кружева, залоснившиеся перчатки, пожелтевшие воротнички и на плечах – дырявые косынки. Но если такова была одежда, то тело почти у всех оказывалось крепко сбитым, здоровье выдерживало натиск житейских бурь, а лицо было холодное, жесткое, полустертое, как изъятая из обращения монета. Увядавшие рты были вооружены хищными зубами. В судьбе этих людей чувствовались драмы, уже законченные или в действии: не те, что разыгрываются при свете рампы, в расписных холстах, а драмы, полные жизни и безмолвные, застывшие и горячо волнующие сердце, драмы, которым нет конца.

Старая дева Мишоно носила над слабыми глазами грязный козырек из зеленой тафты на медной проволоке, способный отпугнуть самого ангела-хранителя. Шаль с тощей, плакучей бахромой, казалось, облекала один скелет, – так угловаты были формы, сокрытые под ней. Надо думать, что некогда она была красива и стройна. Какая же кислота стравила женские черты у этого создания? Порок ли, горе или скупость? Не злоупотребила ли она утехами любви или была просто куртизанкой? Не искупала ли она триумфы дерзкой юности, к которой хлынули потоком наслажденья, старостью, пугавшей всех прохожих? Теперь ее пустой взгляд нагонял холод, неприятное лицо было зловеще. Тонкий голосок звучал, как стрекотание кузнечика в кустах перед наступлением зимы. По ее словам, она ухаживала за каким-то стариком, который страдал катаром мочевого пузыря и брошен был своими детьми, решившими, что у него нет денег. Старик оставил ей пожизненную ренту в тысячу франков, но время от времени наследники оспаривали это завещание, возводя на Мишоно всяческую клевету. Ее лицо, истрепанное бурями страстей, еще не окончательно утратило свою былую белизну и тонкость кожи, наводившие на мысль, что тело сохранило кое-какие остатки красоты.

Господин Пуаре напоминал собою какой-то автомат. Вот он блуждает серой тенью по аллее Ботанического сада: на голове старая помятая фуражка, рука едва удерживает трость с пожелтелым набалдашником слоновой кости, выцветшие полы сюртука болтаются, не закрывая ни коротеньких штанов,

надетых будто на две палки, ни голубых чулок на тоненьких, трясущихся, как у пьяницы, ногах, а сверху вылезает грязная белая жилетка и топорщится заскорузлое жабо из дешевого муслина, отделяясь от скрученного галстука на индюшачьей шее; у многих, кто встречался с ним, невольно возникал вопрос: не принадлежит ли эта китайская тень к дерзкой породе сынов Иафета[14 - ...сынов Иафета... - Описка Бальзака: на самом деле он имел в виду не сынов библейского героя, сына Ноя Иафета, а «дерзостных сынов Иапета» (строка из оды Горация «К кораблю Вергилия», в которой упомянут герой греческого мифа, один из титанов, отец Прометея.), порхающих по Итальянскому бульвару[15 - Итальянский бульвар - место прогулок завзятых модников.]? Какая же работа так скрючила его? От какой страсти потемнело его шишковатое лицо, которое и в карикатуре показалось бы невероятным? Кем был он раньше? Быть может, он служил по Министерству юстиции, в том отделе, куда все палачи шлют росписи своим расходам, счета за поставку черных покрывал для отцеубийц, за опилки для корзин под гильотиной, за бечеву к ее ножу. Он мог быть и сборщиком налога у ворот бойни или помощником санитарного смотрителя. Словом, этот человек, как видно, принадлежал к вьючным ослам на нашей великой социальной мельнице, к парижским Ратонам, даже не знающим своих Бертранов[16 - Бертран и Ратон - персонажи басни Лафонтена, хитрая обезьяна и кот, таскающий для нее каштаны из огня; в 1833 г. была поставлена комедия Э. Скриба «Бертран и Ратон», где тот же сюжет разыгрывается уже не между животными, а между людьми.], был каким-то стержнем, вокруг которого вертелись несчастья и людская скверна, - короче, одним из тех, о ком мы говорим: «Что делать, нужны и такие!» Эти бледные от нравственных или физических страданий лица неведомы нарядному Парижу. Но Париж - это настоящий океан. Бросайте в него лот, и все же глубины его вам не измерить. Не собираетесь ли обзреть и описать его? Обозревайте и описывайте - старайтесь сколько угодно: как бы ни были многочисленны и пытливы его исследователи, но в этом океане всегда найдется область, куда еще никто не проникал, неведомая пещера, жемчуга, цветы, чудовища, нечто неслыханное, упущенное водолазами литературы. К такого рода чудищам относится и «Дом Воке».

Здесь две фигуры представляли разительный контраст со всей группой остальных пансионеров и нахлебников со стороны. Викторина Тайфер, правда, отличалась нездоровой белизной, похожей на бледность малокровных девушек; правда, присущая ей грусть и застенчивость, жалкий, хилый вид подходили к общему страдальческому настроению - основному тону всей картины, но лицо ее не было старообразным, в движениях, в голосе сказывалась живость. Эта юная горемыка напоминала пожелтелый кустик, недавно пересаженный в неподходящую почву. В желтоватости ее лица, в рыжевато-белокурых волосах, в

чересчур тонкой талии проявлялась та прелесть, какую современные поэты видят в средневековых статуэтках. Исчерна-серые глаза выражали кротость и христианское смирение. Под простым дешевым платьем обозначались девические формы. В сравнении с другими можно было назвать ее хорошенькой, а при счастливой доле она бы стала восхитительной: поэзия женщины – в ее благополучии, как в туалете – ее краса. Когда б веселье бала розоватым отблеском легло на это бледное лицо; когда б отрада изящной жизни округлила и поддурманила слегка впалые щеки; когда б любовь одушевила эти грустные глаза, – Викторина смело могла бы поспорить красотой с любой, самой красивой, девушкой. Ей не хватало того, что женщину перерождает, – тряпок и любовных писем. Ее история могла бы стать сюжетом целой книги.

Отец Викторины находил какой-то повод не признавать ее своею дочерью, отказывался взять ее к себе и не давал ей больше шестисот франков в год, а все свое имущество он обратил в такие ценности, какие мог бы передать целиком сыну. Когда мать Викторины, приехав перед смертью к дальней своей родственнице вдове Кутюр, умерла от горя, г-жа Кутюр стала заботиться о сироте, как о родном ребенке. К сожалению, у вдовы интендантского комиссара времен Республики не было ровно ничего, кроме пенсии да вдовьего пособия, и бедная, неопытная, ничем не обеспеченная девушка могла когда-нибудь остаться без нее на произвол судьбы. Каждое воскресенье добрая женщина водила Викторину к обедне, каждые две недели – к исповеди, чтобы на случай жизненных невзгод воспитать ее в благочестии. И г-жа Кутюр была вполне права. Религиозные чувства открывали какое-то будущее перед этой отвергнутой дочерью, которая любила отца и каждый год ходила к нему, пытаясь передать прощенье от своей матери, но ежегодно натыкалась в отцовском доме на неумолимо замкнутую дверь. Брат ее, единственный возможный посредник между нею и отцом, за все четыре года ни разу не зашел ее проведать и не оказывал ей помощи ни в чем. Она молила Бога раскрыть глаза отцу, смягчить сердце брата и, не осуждая их, молилась за обоих. Для характеристики их варварского поведения г-жа Кутюр и г-жа Воке не находили слов в бранном лексиконе. В то время как они кляли бесчестного миллионера, Викторина произносила кроткие слова, похожие на воркованье раненого голубя, где и самый стон звучит любовью.

Эжен де Растиньяк лицом был типичный южанин: кожа белая, волосы черные, глаза синие. В его манерах, обращении, привычной выправке сказывался отпрыск аристократической семьи, в которой воспитание ребенка сводилось к внушению с малых лет старинных правил хорошего тона. Хотя Эжену и приходилось беречь платье, донашивать в обычные дни прошлогоднюю одежду,

он все же иногда мог выйти из дому, одевшись, как подобало молодому франту. А повседневно на нем был старенький сюртук, плохой жилет, дешевый черный галстук, кое-как повязанный и мятый, панталоны в том же духе и ботинки, которые служили уже свой второй век, потребовав лишь расхода на подметки.

Посредствующим звеном между двумя описанными личностями и прочими жильцами являлся человек сорока лет с крашеными бакенбардами – г-н Вотрен. Он принадлежал к тем людям, о ком в народе говорят: «Вот молодчина!» У него были широкие плечи, хорошо развитая грудь, выпуклые мускулы, мясистые, квадратные руки, ярко отмеченные на фалангах пальцев густыми пучками огненно-рыжей шерсти. На лице, изборожденном ранними морщинами, проступали черты жестокосердия, чему противоречило его приветливое и обходительное обращение. Не лишенный приятности высокий бас вполне соответствовал грубоватой его веселости. Вотрен был услужлив и любил посмеяться. Если какой-нибудь замок оказывался не в порядке, он тотчас же разбирает его, чинил, подтачивал, смазывал и снова собирал, приговаривая: «Дело знакомое». Впрочем, ему знакомо было все: Франция, море, корабли, чужие страны, сделки, люди, события, законы, гостиницы и тюрьмы. Стоило кому-нибудь уж очень пожаловаться на судьбу, как он сейчас же предлагал свои услуги; не раз ссужал он деньгами и самое Воке, и некоторых пансионеров; но должники его скорей бы умерли, чем не вернули ему долг, – столько страха вселял он, несмотря на добродушный вид, полным решимости, каким-то особенным, глубоким взглядом. Одна уж его манера сплевывать слюну говорила о таком невозмутимом хладнокровии, что, вероятно, он в критическом случае не остановился бы и перед преступлением. Взор его, как строгий судья, казалось, проникал в самую глубь всякого вопроса, всякого чувства, всякой совести. Образ его жизни был таков: после завтрака он уходил, к обеду возвращался, исчезал затем на целый вечер и приходил домой около полуночи, пользуясь, благодаря доверию г-жи Воке, запасным ключом. Один Вотрен добился такой милости. Он, правда, находился в самых лучших отношениях с вдовой, звал ее мамашей и обнимал за талию – не понятая ею лесть! Вдова совершенно искренне воображала, что обнять ее – простое дело, а между тем лишь у Вотрена были руки достаточной длины, чтобы обхватить такую грузную колоду. Характерная черта: он, не скупясь, тратил пятнадцать франков в месяц на «глорию» [17 - «Глория» – кофе с водкой.] и пил ее за сладким. Людей не столь поверхностных, как эта молодежь, захваченная вихрем парижской жизни, или эти старики, равнодушные ко всему, что непосредственно их не касалось, вероятно, заставило бы призадуматься то двойственное впечатление, какое производил Вотрен. Он знал или догадывался о делах всех окружающих, а между тем никто не мог постигнуть ни род его занятий, ни образ мыслей. Поставив как преграду

между другими и собой показное добродушие, всегдашнюю любезность и веселый нрав, он временами давал почувствовать страшную силу своего характера. Нередко раздражался он сатирой, достойной Ювенала, где, казалось, с удовольствием осмеивал законы, бичевал высшее общество, уличал во внутренней непоследовательности, а это позволяло думать, что в собственной его душе живет злая обида на общественный порядок и в недрах его жизни старательно запрятана большая тайна.

Мадемуазель Тайфер делила свои украдчивые взгляды и потаенные думы между этим сорокалетним мужчиной и молодым студентом, по влечению, быть может, безотчетному, к силе одного и красоте другого, но, видимо, ни тот и ни другой не думали о ней, хотя простая игра случая могла бы не сегодня-завтра изменить положение Викторины и превратить ее в богатую невесту. Впрочем, среди всех этих личностей никто и не давал себе труда проверить, сколько правды и сколько вымысла заключалось в тех несчастьях, на которые ссылался кто-либо из них. Все питали друг к другу равнодушие с примесью недоверия, вызванного собственным положением каждого в отдельности. Все сознавали свое бессилие облегчить удручавшие их горести и, обменявшись рассказами о них, исчерпали чашу сострадания. Как застарелым супругам, им уже не о чем было говорить. Таким образом, их отношения сводились только к внешней связи, к движению ничем не смазанных колес. Любой из них пройдет на улице мимо слепого нищего не обернувшись, без волнения прослушает рассказ о чьем-нибудь несчастье, а в смерти ближнего увидит лишь разрешение проблемы нищеты, которая и породила их равнодушие к самой ужасной агонии. Среди таких опустошенных душ счастливее всех была вдова Воке, царившая в этом частном странноприимном доме. Маленький садик, безлюдный в мороз, в зной и в слякоть, становившийся тогда пустынным, словно степь, ей одной казался веселой рощицей. Для нее одной имел прелесть этот желтый мрачный дом, пропахший, как прилавок, дешевой краской. Эти камеры принадлежали ей. Она кормила этих каторжников, присужденных к вечной каторге, и держала их в почтительном повиновении. Где еще в Париже нашли бы эти горемыки за такую цену сытную пищу и пристанище, которое в их воле было сделать если не изящным или удобным, то, по крайней мере, чистым и не вредным для здоровья? Позволь себе г-жа Воке вопиющую несправедливость – жертва снесет ее без ропота.

В подобном соединении людей должны проявляться все составные части человеческого общества, – они и проявлялись в малом виде. Как в школах, как в разных кружках, и здесь, меж восемнадцати нахлебников, оказалось убогое, отверженное существо, козел отпущения, на которого градом сыпались

насмешки. В начале второго года как раз эта фигура выступила перед Эженом Растиньяком на самый первый план изо всех, с кем ему было суждено прожить не менее двух лет. Таким посмешищем стал бывший вермишельщик, папаша Горио, а между тем и живописец, и повествователь сосредоточили бы на его лице все освещение в своей картине. Откуда же взялось это чуть ли не злобное пренебрежение, это презрительное гонение, постигшее старейшего жильца, это неуважение к чужой беде? Не сам ли он дал повод, не было ли в нем странностей или смешных привычек, которые прощаются людьми труднее, чем пороки? Все эти вопросы тесно связаны со множеством общественных несправедливостей. Быть может, человеку по природе свойственно испытывать терпение тех, кто сносит все из простой покорности, или по безразличию, или по слабости. Разве мы не любим показывать свою силу на ком угодно и на чем угодно? Даже такое тщедушное создание, как уличный мальчишка, и тот звонит, когда стоят морозы, во все звонки входных дверей или взбирается на еще не испачканный памятник и пишет на нем свое имя.

Папаша Горио, старик лет шестидесяти девяти, поселился у г-жи Воке в 1813 году, когда отошел от дел. Первоначально он снял квартиру, позднее занятую г-жой Кутюр, и вносил тысячу двести франков за полный пансион, словно платить на сто франков больше или меньше было для него безделицей. Г-жа Воке подновила три комнаты этой квартиры, получив от Горио вперед некоторую сумму для покрытия расходов, будто бы произведенных на дрянную обстановку и отделку: на желтые коленкоровые занавески, лакированные, обитые трипом кресла, на кое-какую подмазку клеевой краской и обои, отвергнутые даже кабаками городских предместий. Быть может, именно потому, что папаша Горио, в ту пору именуемый почтительно господин Горио, поймался на эту удочку, проявив такую легкомысленную щедрость, на него стали смотреть как на дурака, ничего не смыслящего в практических делах. Горио привез с собой хороший запас платья, великолепный подбор вещей, входящих в обиход богатого купца, который бросил торговать, но не отказывает себе ни в чем. Вдова Воке залюбовалась на полторы дюжины рубашек из полуголландского полотна, особенно приметных своей добротностью благодаря тому, что вермишельщик закалывал их мягкое жабо двумя булавками, соединенными цепочкой, а в каждую булавку был вправлен крупный бриллиант. Обычно он одевался в василькового цвета фрак, ежедневно менял пикейный белый жилет, под которым колыхалось выпуклое грушевидное брюшко, шевеля золотую массивную цепочку с брелоками. В табакерку, тоже золотую, был вделан медальон, где хранились чьи-то волосы, и это придавало Горио вид человека, повинного в любовных похождениях. Когда хозяйка обозвала его «старым волокитой», на его губах мелькнула веселая улыбка мещанина, польщенного в

своей страстишке. Его «шкапики» (так выражался он по-простецки) были полны столовым серебром. У вдовы глаза так и горели, когда она любезно помогала ему распаковывать и размещать серебряные с позолотой ложки для рагу и для разливания супа, судки, приборы, соусники, блюда, сервизы для завтрака, – словом, вещи более или менее красивые, достаточно увесистые, с которыми он не хотел расстаться. Эти подарки напоминали ему о торжественных событиях его семейной жизни.

– Вот, – сказал он г-же Воке, вынимая блюдо и большую чашку с крышкой в виде двух целующихся горлинок, – это первый подарок моей жены в годовщину нашей свадьбы. Бедняжка! Она истратила на это все свои девичьи сбережения. И я, сударыня, скорее соглашусь рыть собственными ногтями землю, чем расстаться с этим. Благодаря богу, я в остаток дней своих еще поплюю утром кофейку из этой чашки. Жаловаться мне не приходится, у меня есть кусок хлеба, и надолго.

В довершение всего г-жа Воке заметила своим сорочьим глазом облигации государственного казначейства, которые, по приблизительным расчетам, могли давать этому замечательному Горио тысяч восемь-десять дохода в год. С того дня вдова Воке, в девицах де Конфлан, уже достигшая сорока восьми лет от роду, но признававшая из них только тридцать девять, составила свой план. Несмотря на то что внутренние углы век у Горио вывернулись, распухли и слезились, так что ему довольно часто приходилось их вытирать, она находила его наружность приятной и вполне приличной. К тому же его мясистые, выпуклые икры и длинный широкий нос предвещали такие скрытые достоинства, которыми вдова, как видно, очень дорожила, да их вдобавок подтверждало лунообразное, наивно-простоватое лицо папаши Горио. Он представлялся ей крепышом, способным вложить всю душу в чувство. Волосы его, расчесанные на два «крылышка» и с самого утра напудренные парикмахером Политехнической школы, приходившим на дом, вырисовывались пятью фестонами на низком лбу, красиво окаймляя его лицо. Правда, он был слегка мужиковат, но так подтянут, так обильно брал табак из табакерки и нюхал с такой уверенностью в возможность и впредь сколько угодно наполнять ее макубой[18 - Макуба – табак с острова Мартиника.], что в день переезда Горио, вечером, когда Воке улеглась в постель, она, как куропатка, обернутая шпиком, румянилась на огне желанья проститься с саваном Воке и возродиться женою Горио. Выйти замуж, продать пансион, пойти рука об руку с этим лучшим представителем зажиточного мещанства, стать именитой дамой в своем квартале, собирать пожертвования на бедных, выезжать по воскресеньям в Шуази, Суази и Жантильи[19 - Шуази... Жантильи... – В этих деревнях в

окрестностях Парижа было много кабачков, где любили отдыхать незнатные жители столицы.]; ходить в театр, когда захочешь, брать ложу, а не дожидаться контрамарок, даримых кое-кем из пансионеров в июле месяце, – все это Эльдорадо парижских пошленьких семейных жизней стало ее мечтой. Она не поверяла никому, что у нее есть сорок тысяч франков, накопленных по грошу. Разумеется, в смысле состояния она себя считала приличной партией.

«А в остальном я вполне стою старикана», – подумала она и повернулась на другой бок, будто удостовераясь в наличии своих прелестей, оставлявших глубокий отпечаток на перине, как в этом убеждалась по утрам толстуха Сильвия.

С этого дня в течение трех месяцев вдова Воке пользовалась услугами парикмахера г-на Горио и сделала кое-какие затраты на туалет, оправдывая их тем, что ведь нужно придать дому достойный вид, в соответствии с почтенными особами, посещавшими пансион. Она всячески старалась изменить состав пансионеров и всюду трезвонила о своем намерении пускать отныне лишь людей, отменных во всех смыслах. Стоило постороннему лицу явиться к ней, она сейчас же начинала похвалиться, что г-н Горио – один из самых именитых и уважаемых купцов во всем Париже, а вот оказал ей предпочтение. Г-жа Воке распространила специальные проспекты, где в заголовке значилось: «ДОМ ВОКЕ». И дальше говорилось, что «это самый старинный и самый уважаемый семейный пансион Латинского квартала, из пансиона открывается наиприятнейший вид (с четвертого этажа!) на долину Гобеленовой мануфактуры, есть миленький сад, а в конце его простирается липовая аллея». Упоминалось об уединенности и хорошем воздухе. Этот проспект привел к ней графиню де л'Амбермениль, женщину тридцати шести лет, ждавшую окончания дела о пенсии, которая ей полагалась как вдове генерала, павшего на полях битвы. Г-жа Воке улучшила свой стол, почти шесть месяцев отапливала общие комнаты и столь добросовестно сдержала обещания проспекта, что доложила еще своих. В результате графиня, называя г-жу Воке дорогим другом, обещала переманить к ней из квартала Марэ[20 - Квартал Марэ имел репутацию места, где живут люди из старинных дворянских родов, крайне прижимистые, старомодные и чопорные. Для вдовы Воке получить жильцов из Марэ было весьма престижно.] баронессу де Вомерланд и вдову полковника графа Пикуазо, двух своих приятельниц, доживавших срок в пансионе более дорогим, чем «Дом Воке». Впрочем, эти дамы будут иметь большой достаток, когда военные канцелярии закончат их дела.

– Но канцелярии все тянут без конца, – говорила она.

После обеда обе вдовы уединялись в комнате самой Воке, занимались там болтовней, попивая черносмородинную наливку и вкушая лакомства, предназначенные только для хозяйки. Графиня де л'Амбермениль очень одобряла виды хозяйки на Горио, виды отличные, о которых, кстати сказать, она догадалась с первого же дня, и находила, что Горио – мужчина первый сорт.

– Ах, дорогая! – говорила ей вдова Воке. – Этот мужчина свеж, как яблочко, прекрасно сохранился и еще способен доставить женщине много приятного.

Графиня великодушно дала кое-какие указания г-же Воке по поводу ее наряда, не соответствовавшего притязаниям вдовы.

– Надо вас привести в боевую готовность, – сказала она ей.

После долгих вычислений обе вдовы отправились в Пале-Рояль и в деревянной галерее купили шляпку с перьями и чепчик. Графиня увлекла свою подругу в магазин «Маленькая Жанета», где они выбрали платье и шарф. Когда это боевое снаряжение пустили в дело и вдовушка явилась во всеоружии, она была поразительно похожа на вывеску «Беф а-ля мод»[21 - «Беф-а-ла-мод» (дословно «Модный бык», или «Говядина, приготовленная по моде») – название ресторана в центре Парижа, на вывеске которого был изображен бык в шали и шляпке.]. Тем не менее сама она нашла в себе такую выгодную перемену, что сочла себя обязанной графине и предподнесла ей шляпку в двадцать франков, хотя и не отличалась тороватостью. Правду говоря, она рассчитывала потребовать от графини одной услуги, а именно – выпросить Горио и показать ее, Воке, в хорошем свете. Графиня де л'Амбермениль весьма по-дружески взялась за это дело, начала обхаживать старого вермишельщика и наконец добилась беседы с ним; но в этом деле она руководилась желаньем соблазнить вермишельщика лично для себя; когда же все покушения ее натолкнулись на застенчивость, если не сказать – отпор, папаши Горио, графиня возмущалась неотесанностью старика и вышла.

– Ангел мой, от такого человека вам ничем не поживиться! – сказала она своей подруге. – Он недоверчив до смешного; это дурак, скотина, скряга, и, кроме неприятности, ждать от него нечего.

Между графиней де л'Амбермениль и г-ном Горио произошло нечто такое, после чего графиня не пожелала даже оставаться с ним под одной кровлей. На другой же день она уехала, забыв при этом уплатить за полгода своего пребывания в пансионе и оставив после себя хлам, оцененный в пять франков. Как ни ретиво взялась за розыски г-жа Воке, ей не удалось получить в Париже никакой справки о графине де л'Амбермениль. Она часто вспоминала об этом печальном происшествии, плакалась на свою чрезмерную доверчивость, хотя была недоверчивее кошки; но в этом отношении г-жа Воке имела сходство со многими людьми, которые не доверяют своим близким и отдаются в руки первого встречного, – странное психологическое явление, но оно факт, и его корни нетрудно отыскать в самой человеческой душе. Быть может, некоторые люди не в состоянии ничем снискать расположение тех, с кем они живут, и, обнаружив перед ними всю пустоту своей души, чувствуют, что окружающие втайне выносят им заслуженно суровый приговор; но в то же время такие люди испытывают непреодолимую потребность слышать похвалы себе, – а как раз этого не слышно, или же их снедает страстное желание показать в себе достоинства, каких на самом деле у них нет, и ради этого они стремятся завоевать любовь или уважение людей, им посторонних, рискуя пасть когда-нибудь и в их глазах. Наконец, есть личности, своекорыстные по самой их природе: ни близким, ни друзьям они не делают добра по той причине, что это только долг; а если они оказывают услуги незнакомым, они тем самым поднимают себе цену; поэтому чем ближе стоит к ним человек, тем меньше они его любят: чем дальше он от них, тем больше их старанье услужить. И, несомненно, в г-же Воке соединились обе эти натуры, по самому существу своему мелкие, лживые и гадкие.

– Будь я тогда здесь, – говаривал Вотрен, – с вами не приключилось бы такой напасти. Я бы вывел эту пройдоху на свежую воду. Их штучки мне знакомы.

Как все ограниченные люди, г-жа Воке обычно не выходила из круга самих событий и не вдавалась в их причины. Свои ошибки она охотно валила на других. Когда ее постиг этот убыток, то для нее первопричиной такого злоключенья оказался честный вермишельщик; с той поры у нее, как говорила она, раскрылись на него глаза. Уразумев всю тщету своих заигрываний и своих затрат на благолепие, она без долгих дум нашла причину этой неудачи. Она заметила, что Горио имел, по выражению ее, свои замашки. Словом, он показал ей, что ее любовно лелеемые надежды покоились на химерической основе и от такого человека ей ничем не поживиться, как энергично выразилась графиня, видимо, знаток в этих делах. В своей неприязни г-жа Воке, конечно, зашла гораздо далее, чем в дружбе. Сила ее ненависти соответствовала не былой

любви, а обманутой надежде. Человеческое сердце делает передышки при подъеме на высоты добрых чувств, но на крутом уклоне злобных чувств задерживается редко. Однако Горио был все-таки ее жильцом, а следовательно, вдове пришлось тушить вспышки оскорбленного самолюбия, сдерживать вздохи, вызванные таким разочарованием, и подавлять жажду мести, подобно монаху, который вынужден терпеть обиды от игумена. Души мелкие достигают удовлетворения своих чувств, дурных или хороших, бесконечным рядом мелочных поступков. Вдова, пустив в ход все женское коварство, стала изобретать тайные гонения на свою жертву. Для начала она урезала все лишнее, что было ею введено в общий стол.

– Никаких корнишонов, никаких анчоусов: от них один убыток! – объявила она Сильвии в то утро, когда решила вернуться к прежней своей программе.

Господин Горио был человек скромных потребностей, и скопидомство, неизбежное для тех, кто сам создает себе богатство, вошло у него уже в привычку. Суп, вареная говядина, какое-нибудь блюдо из овощей всегда были и остались излюбленным его обедом. Поэтому задача извести такого нахлебника, ущемляя его вкусы, оказалась нелегким делом для г-жи Воке. В отчаянии, что ей пришлось столкнуться с неуязвимым человеком, она стала выказывать неуважение к нему, тем самым внушая свою неприязнь к Горио другим пансионерам, а те ради забавы способствовали ее мести.

К концу первого года вдова дошла до такой степени подозрительности, что задавала себе вопрос: отчего этот купец, при его доходе в семь-восемь тысяч ливров, с его превосходным столовым серебром и красивыми, как у содержанки, драгоценностями, все-таки жил у нее и, несоизмеренно с состоянием, так скупко тратился на свой пансион? В течение большей части первого года Горио нередко, раз или два в неделю, обедал в другом месте, затем мало-помалу он стал обедать вне пансиона только два раза в месяц. Отлучки г-на Горио удачно совпадали с выгодами г-жи Воке, а когда жилец начал все чаще и чаще обедать дома, такая исправность не могла не вызвать неудовольствия хозяйки. Эти перемены были приписаны не только денежному оскудению Горио, но и его желанию насолить своей хозяйке. Гнуснейшая привычка карликовых умов – приписывать свое духовное убожество другим. К несчастью, к концу второго года Горио оправдал все пересуды в отношении себя, попросив г-жу Воке перевести его на третий этаж и сбавить плату за пансион до девятисот франков. Ему пришлось так строго экономить, что он перестал топить зимою. Вдова Воке потребовала, чтобы ей было заплачено вперед, на что и получила согласие г-на

Горио, которого все же с той поры стала звать «папаша Горио».

О причинах этого падения строили догадки все, кому не лень. Дело трудное. Как говорила лжеграфиня, папаша Горио был скрытен, себе на уме. По логике людей пустоголовых, всегда болтливых, потому что, кроме пустяков, им нечего сказать, всякий, кто не болтает о своих делах, очевидно, занимается зловерными делами. Так «именитый купец» превратился в мазурика, а «волокита» – в старого шута. Папаша Горио то оказывался человеком, который забежал на биржу и там, по энергичному выражению финансового языка, пощипывал на ренте, после того, как разорился на большой игре, – такова была версия Вотрена, поселившегося тогда в «Доме Воке»; а то он был одним из мелких игроков, что каждый вечер ставят на счастье и выигрывают франков десять. То из него делали шпиона тайной полиции, – но, по уверению Вотрена, Горио был недостаточно хитер, чтобы достигнуть этого. Кроме того, папаша Горио был также скрягой, ссужавшим под высокие проценты на короткий срок, и лотерейным игроком, игравшим на «сквозной» номер. Он превращался в какое-то весьма таинственное порождение бесчестья, немощи, порока. Однако же, как ни были гнусны его пороки или поведение, неприязнь к нему не доходила до того, чтобы его изгнать: за пансион-то он платил. К тому же от него была и польза: каждый, высмеивая или задирая его, изливал свое хорошее или дурное настроение.

Мнение г-жи Воке казалось наиболее правдоподобным и получило общее признание. По ее словам, этот «хорошо сохранившийся и свежий, как яблочко, мужчина, еще способный доставить женщине много приятного», был просто-напросто распутник со странными наклонностями. И вот какими фактами обосновала г-жа Воке эту клевету.

Несколько месяцев спустя после отъезда разорительной графини, сумевшей просуществовать полгода за счет хозяйки, г-жа Воке однажды утром, еще не встав с постели, услышала на лестнице шуршанье шелкового платья и легкие шаги молодой, изящной женщины, проскользнувшей к Горио в заранее растворенную дверь. Толстуха Сильвия сейчас же пришла сказать своей хозяйке, что некая девица, чересчур красивая, чтобы быть честной, одетая как божество, в прюнелевых ботинках, совсем не запыленных, скользнула, точно угорь, с улицы к ней на кухню и спросила, где квартирует господин Горио. Вдова Воке вместе с кухаркой стали подслушивать и уловили кое-какие нежные слова, сказанные во время этого довольно продолжительного посещения. Когда же г-н Горио вышел проводить свою даму, толстуха Сильвия надела на руку корзинку,

как будто бы отправилась на рынок, и пошла следом за любовной парочкой.

– Сударыня, – сказала она, вернувшись, – а, надо быть, господин Горио богат чертовски, коли ничего не жалеет для своих красоток. Верите ли, на углу Эстрапады стоял роскошный экипаж, и в этот экипаж села она!

Во время обеда г-жа Воке пошла задернуть занавеску, чтобы папаше Горио солнце не било в глаза.

– Господин Горио, вас любят красотки, – смотрите, как солнышко с вами играет. Черт возьми, у вас есть вкус, она прехорошенькая, – сказала вдова, намекая на его гостью.

– Это моя дочь, – ответил Горио с гордостью, которую нахлебники сочли просто самодовольством старика, соблюдавшего внешние приличия.

Спустя месяц со времени первого визита к Горио последовал второй. Его дочь, которая была у него первый раз в простом утреннем платье, теперь явилась после обеда, в выездном наряде. Нахлебники, болтавшие в гостиной, имели случай полюбоваться на красивую, изящную блондинку с тонкой талией, слишком изысканную для дочери какого-то папаши Горио.

– Да их две! – заявила, не узнав ее, толстуха Сильвия.

Через несколько дней другая девица, высокая, хорошо сложенная брюнетка с живым взглядом, спросила г-на Горио.

– Да их три! – воскликнула Сильвия.

Вторая дочь навестила отца тоже утром, а несколько дней спустя приехала вечером в карете, одетая в бальный туалет.

– Целых четыре! – воскликнули г-жа Воке с толстухой Сильвией, не заметив в этой важной даме никакого сходства с просто одетой девицей, приходившей в первый раз утром.

Горио еще платил тогда за пансион тысячу двести франков. Г-жа Воке находила вполне естественным, что у богатого мужчины четыре или пять любовниц, а в его стремлении выдать их за своих дочерей усматривала даже большое хитроумие. Она нисколько не была в претензии, что он их принимал в «Доме Воке». Но так как этими посещениями объяснялось равнодушие пансионера к ее особе, вдова позволила себе в начале второго года дать ему кличку «старый кот». Когда же Горио скатился до девятисот франков, она, увидя одну из этих дам, сходящую с лестницы, спросила его очень нагло, во что он собирается превратить ее дом. Папаша Горио ответил, что эта дама его старшая дочь.

- Так у вас дочерей-то целых три дюжины, что ли? - съязвила г-жа Воке.

- Только две дочери, - ответил ей жилец смиренно, как человек разорившийся, дошедший до полной покорности из-за нужды.

К концу третьего года папаша Горио еще больше сократил свои траты, перейдя на четвертый этаж и ограничив расход на свое содержание сорока пятью франками в месяц. Он бросил нюхать табак, расстался с парикмахером и перестал пудрить волосы. Когда папаша Горио впервые явился ненапудренным, хозяйка ахнула от изумления, увидев цвет его волос - грязно-серый с зеленым оттенком. Его физиономия, становясь под гнетом тайных горестей день ото дня все печальнее, казалась самой удрученной из всех физиономий, красовавшихся за обеденным столом. Не оставалось никаких сомнений: папаша Горио - это старый распутник, только благодаря искусству врачей сохранивший свои глаза от коварного действия лекарств, неизбежных при его болезнях, а противный цвет его волос - следствие любовных излишеств и тех снадобий, которые он принимал, чтобы продлить эти излишества. Физическое и душевное состояние бедняги, казалось, оправдывало этот вздор. Когда у Горио сносилось красивое белье, он заменил его бельем из коленкора, купленного по четырнадцать су за локоть. Бриллианты, золотая табакерка, цепочка, драгоценности - все ушло одно вслед за другим. Он расстался с васильковым фракком, со всем своим парадом и стал носить зимой и летом сюртук из грубого сукна коричневого цвета, жилет из козьей шерсти и серые штаны из толстого буксина. Горио все худел и худел; икры опали, лицо, расплывшееся в довольстве мещанского благополучия, необычайно сморщилось, челюсти резко обозначились, на лбу залегли складки. К концу четвертого года житься на улице Нев-Сент-Женевьев он стал сам на себя не похож. Милый вермишельщик шестидесяти двух лет, на вид не больше сорока, высокий, полный буржуа, моложавый до нелепости, с какой-то юною улыбкою на лице, радовавший прохожих своим веселым видом, теперь

глядел семидесятилетним стариком, тупым, дрожащим, бледным. Сколько жизни светилось в голубых его глазах! Теперь они потухли, выцвели, стали серо-железного оттенка и больше не слезились, а красная закраина их век как будто сочилась кровью. Одним внушал он омерзение, другим – жалость. Юные студенты-медики, заметив, что нижняя губа у него отвисла, и смерив его лицевой угол, долго старались растормошить папашу Горио, но безуспешно, после чего определили, что он страдает кретинизмом.

Как-то вечером, по окончании обеда, когда вдова Воке насмешливо спросила Горио: «Что ж это ваши дочери перестали навещать вас?» – ставя этим под сомнение его отцовство, папаша Горио вздрогнул так, словно хозяйка кольнула его железным острием.

– Иногда они заходят, – ответил он взволнованным голосом.

– Ах, вот как! Иногда вы их еще видите? – воскликнули студенты. – Браво, папаша Горио!

Старик уже не слышал насмешек, вызванных его ответом: он снова впал в задумчивость, а те, кто наблюдал его поверхностно, считали ее старческим отупением, говоря, что он выжил из ума. Если бы они знали Горио близко, то, может быть, вопрос о состоянии его, душевном и физическом, заинтересовал бы их, хотя для них он был почти неразрешим. Навести справки о том, занимался ли Горио в действительности торговлей мучным товаром и каковы были размеры его богатства, конечно, не представляло затруднений, но люди старые, чье любопытство он мог бы пробудить, не выходили за пределы своего квартала и жили в пансионе, как устрицы, приросшие к своей скале. Что же касается до остальных, то стоило им выйти с улицы Нев-Сент-Женевьев, и сейчас же стремительность парижской жизни уносила воспоминанье о бедном старике, предмете их глумлений. В понятии беспечных юношей и этих ограниченных людей такая горькая нужда, такое тупоумие папаши Горио не вязались ни с каким богатством, ни с какой дееспособностью. О женщинах, которых он выдавал за своих дочерей, каждый держался мнения г-жи Воке, которая с непререкаемой логикой старух, привыкших в часы вечерней болтовни судачить о чем угодно, говорила:

– Будь у папаши Горио дочери так же богаты, как были с виду дамы, приходившие к нему, разве стал бы он жить у меня в доме, на четвертом этаже, за сорок пять франков в месяц и ходить как нищий?

Подобных доводов ничем не опровергнешь. Таким образом, в конце ноября 1819 года, когда разыгралась эта драма, любой нахлебник в пансионе имел вполне установившееся мнение о бедном старике. Никакой жены, никаких дочерей у него никогда не было; злоупотребление удовольствиями превратило его в улитку, в человекообразного моллюска из отряда фуражконосных, как выразился «разовый» нахлебник, чиновник Естественно-исторического музея... Даже Пуаре был орел, джентльмен в сравнении с Горио. Пуаре говорил, рассуждал, давал ответы; правда, в разговоре – и в рассуждениях, и в ответах – он ничего своего не выражал, ибо имел привычку повторять иными словами только то, что было сказано другими, но все же он способствовал беседе, в нем была жизнь, видимость каких-то чувств, а Горио, опять-таки по выражению музейного чиновника, стоял все время на точке замерзания.

Растиньяк, съездив домой, вернулся в настроении, хорошо знакомом молодым людям, если они очень способны вообще или если в них под действием тяжелых обстоятельств вдруг пробуждаются на короткий срок способности исключительных людей. В первый год своего пребывания в Париже, когда для получения начальных степеней на факультете еще не требуется усидчивой работы, Эжен располагал свободным временем, чтобы насладиться показными прелестями Парижа. Студенту не хватит времени, если он намерен ознакомиться с репертуаром каждого театра, изучить все ходы и выходы в парижском лабиринте, узнать обычаи, перенять язык, привыкнуть к столичным удовольствиям, обегать все приличные и злачные места, послушать занимательные лекции и осмотреть музейные богатства. В это время он придает огромное значение всяким пустякам и страстно ими увлекается. У него есть свой великий человек, профессор из Коллеж де Франс[22 - Коллеж де Франс – действовавшее в Париже с XVI века высшее учебное заведение, где прославленные ученые и мыслители читали публичные лекции для всех желающих.], которому за то и платят, чтоб он держался на уровне своей аудитории. Студент выше подтягивает галстук и принимает красивые позы ради какой-либо женщины, сидящей в первом ярусе Комической оперы. Исполдволь он входит в жизнь, обтесывается, расширяет свой кругозор и постигает наконец соотношение различных слоев в человеческом обществе. Начав заглядываться на вереницу колясок, движущихся при ярком солнце по Елисейским полям, он скоро пожелает обзавестись своим выездом.

Эжен, не сознавая этого, успел пройти такую школу еще до того, как уехал на каникулы, получив степень бакалавра словесных и юридических наук. Его ребяческие иллюзии, его провинциальные воззрения исчезли, понятия

изменились, а честолюбие безмерно разрослось, и, живя в родной усадьбе, в лоне своей семьи, на все смотрел он новым, трезвым взглядом. Его отец, мать, два брата, две сестры и тетка, все богатство которой заключалось в пенсии, жили в маленьком именье Растиньяк. Это поместье с доходом около трех тысяч франков зависело от шаткой экономики, господствующей в чисто промысловой культуре винограда, и, несмотря на это, требовалось ежегодно еще извлекать тысячу двести франков для Эжена. Он видел эту постоянную нужду, которую великодушно скрывали от него; невольно сравнил своих сестер, которые казались ему в детстве такими красавицами, с парижскими женщинами, воплотившими в его мечтах тип красоты; сознавал всю зыбкость будущего этой многочисленной семьи, которая надеялась всецело на него; замечал, с какою мелочной бережливостью заботливо припрятавались самые дешевые продукты; пил вместе со всей семьей напиток, приготовленный на виноградной кожуре; словом, множество обстоятельств, упоминание о коих здесь бесцельно, удесятило его желание преуспеть в жизни и возбудило жажду выдвинуться. Как это свойственно великодушным людям, ему хотелось быть обязанным лишь собственным заслугам. Но он был южанин, до мозга костей южанин, поэтому на деле его решениям предстояло испытать те колебания, какие возникают у молодого человека, как только он очутится в открытом море, не зная ни к какому берегу направить свои силы, ни под каким углом поставить паруса. Эжен первоначально собирался окунуться с головой в работу, но вскоре увлекся созданием нужных ему связей. Заметив, как велико влияние женщин в жизни общества, он сразу же задумал пуститься в высший свет, чтобы завоевать себе там покровительниц; а могло ли их не оказаться у молодого человека, остроумного и пылкого, когда вдобавок ум и пыл в нем подкреплялись изяществом осанки и какой-то нервической красотой, на которую так падки женщины? Эти мысли осаждали Растиньяка во время его блужданий по полям, где он в былое время так весело прогуливался с сестрами, теперь замечавшими в нем очень большую перемену. Его тетка г-жа де Марсийяк была когда-то при дворе и завела знакомства в верхах аристократического мира. Среди воспоминаний тетки, которыми она прежде так часто и так заманчиво делилась с ним, юный честолюбец вдруг усмотрел исходные позиции для своих побед в обществе, не менее важных, чем его успехи в Школе правоведения; он расспросил ее, какие родственные связи возможно снова завязать. Тряхнув ветви генеалогического древа, старая дама решила, что среди эгоистического племени богатых родственников, изо всех родных, способных сослужить службу ее племяннику, виконтесса де Босеан, пожалуй, окажется наиболее отзывчивой. Она написала этой молодой даме письмо в старинном стиле и, передав его Эжену, сказала, что, коль скоро он преуспеет у виконтессы, та пособит ему обрести вновь и других родственников. Спустя несколько дней по своему

прибытии в Париж Растиньяк переслал тетушкино письмо г-же де Босеан. Виконтесса ответила приглашением на бал, назначенный на другой день.

Таково было положение дел в семейном пансионе к концу ноября 1819 года. Получив ответ на письмо, Эжен побывал на балу у г-жи де Босеан и пришел домой часа в два ночи. Чтобы нагнать потерянный вечер, студент еще во время танцев храбро давал себе обет работать до утра. Поддавшись чародейству ложной энергии, вспыхнувшей в нем при виде блеска светской жизни, он был готов впервые провести бессонную ночь в тиши своего квартала. В этот день он не обедал в пансионе. Таким образом, жильцы могли предполагать, что он вернется только на рассвете, как и случилось, когда он приходил с балов в Одеоне или вечеров в Прадо[23 - В театре Одеон и танцевальной зале Прадо устраивались публичные балы.], забрызгав грязью шелковые чулки и стоптав бальные туфли. Кристоф, прежде чем запереть дверь на засов, выглянул на улицу. Как раз в это мгновение явился Растиньяк и мог поэтому без шума взойти к себе наверх в сопровождении Кристофа, шумевшего довольно основательно. Эжен разделся, обулся в ночные туфли, надел плохонький сюртук, разжег торф в печке и приготовился к работе настолько быстро, что Кристоф стуком своих тяжелых башмаков заглушил и эти не очень шумные приготовления студента.

Прежде чем углубиться в юридические книги, Эжен несколько минут сидел, задумавшись. Виконтесса де Босеан, с которой он только что свел знакомство, была одной из цариц парижского большого света, а дом ее слыл самым приятным в Сен-Жерменском предместье[24 - Сен-Жерменское предместье - аристократический квартал в центре Парижа, на левом берегу Сены, напротив Лувра.]. Да и по имени, и по богатству она принадлежала к верхам аристократического мира. Благодаря своей тетке де Марсийяк бедный студент был хорошо принят виконтессой, но сам не ведал, как много значила такая благосклонность: быть принятым в этих раззолоченных гостиных равнялось грамоте на высшее дворянство. Показав себя в самом замкнутом обществе, он завоевал право на вход куда угодно. Ослепленный таким блестящим собранием, Эжен едва успел обменяться лишь несколькими фразами с г-жой де Босеан и удовольствовался тем, что среди толпы богинь Парижа, теснившихся на рауте, отметил для себя одну из тех, в которых юноши сразу же должны влюбляться. Высокая, хорошо сложенная графиня Анастази де Ресто славилась на весь Париж красотой своего стана. Вообразите большие черные глаза, великолепные руки, точеные ноги, в движениях огонь, - женщину, которую маркиз де Ронкероль звал «чистокровной лошадей». Нервная утонченность не портила ничем ее красоты: все формы ее отличались полнотой и округлостью, не вызывая упрека в излишней толщине. «Чистокровная лошадь», «породистая

женщина» – такие выражения стали вытеснять «небесных ангелов», «оссиановские лица»[25 - «Оссиановские лица» – печальные и задумчивые; под именем кельтского барда Оссиана шотландский поэт Джеймс Макферсон в 1760 г. создал сборник поэм, туманный колорит и меланхолические интонации которых довольно скоро стали очень популярны в Европе.] – всю старую любовную мифологию, отвергнутую дендизмом. Но для Растиньяка графиня де Ресто являлась просто женщиной, притом желанной. В списке кавалеров, записанных у нее на веере, он обеспечил себе два танца и мог поговорить с ней в первом контрдансе.

– Где можно встретить вас, мадам? – спросил он напрямик, с той страстной силой, которая так нравится женщинам.

– Где?.. Хотя бы в Булонском лесу, у Буффонов[26 - Буффоны – обиходное название Итальянской оперы, самого изысканного из парижских театров.], у меня, всюду, – ответила она.

И предприимчивый южанин постарался сблизиться с пленительной графиней, насколько это мыслимо для молодого человека за время контрданса и тура вальса. Считая свою даму «знатной дамой», Эжен отрекомендовался ей кузеном г-жи де Босеан, после чего графиня разрешила ему явиться к ней и бывать запросто. По ее улыбке на прощанье он заключил, что надо сделать ей визит. На свое счастье, он встретил человека, который не посмеялся его наивности, считавшейся смертным грехом в среде прославленных повес этой эпохи, всяких Моленкуров, Ронкеролей, Максимов де Трай, де Марсе, Ажуда-Пинто, Ванденесов, которые блистали безумным щегольством, вращаясь в обществе самых роскошных женщин – леди Брэндон, герцогини де Лаже, графини Кергаруэт, г-жи Серизи и г-жи де Ланти, герцогини де Карильяно, графини Ферро, маркизы д'Эглемон, г-жи Фирмиани, маркизы де Листомэр и маркизы д'Эспар, герцогини де Мофриньез и дам из семейства де Гранлье. Итак, по счастью, неопытный студент попал на маркиза де Монриво, любовника герцогини де Ланже, генерала, отличавшегося детским простодушием, который и сообщил ему, что графиня де Ресто живет на Гельдерской улице.

Быть молодым, мечтать о женщине, жаждать светской жизни и видеть, как перед тобой распахиваются двери двух домов; стать твердой ногой в Сен-Жерменском предместье у виконтессы де Босеан и преклонить колено на Шоссе-д'Антен[27 - Шоссе-д'Антен – квартал на правом берегу Сены, где селились банкиры и деловые люди.] перед графиней де Ресто, пронизывать взглядом

анфиладу парижских салонов и считать себя достаточно красивым, чтобы найти там покровительство и помощь в женском сердце; чувствовать себя достаточно честолюбивым, чтобы одним неподражаемым прыжком вскочить на туго натянутый канат, идти по нему со смелостью никогда не падающего акробата и приобрести самый надежный балансир в лице обворожительной женщины! Кто бы, во власти таких дум и такой женщины, величественно возникавшей перед ним здесь – рядом с торфяной печкой, между нищетой и «Сводом законов», – кто бы в своем раздумье не пытал грядущее, не видел впереди удачи, как Эжен? Разгулявшаяся мысль так щедро давала векселя под будущие радости, что он уже воображал себя наедине с графиней де Ресто, но в это время стон, подобный скорбному вздоху святого Иосифа, нарушил молчанье ночи и отозвался в сердце молодого человека, как чей-то предсмертный хрип. Эжен тихонько открыл дверь и, выйдя в коридор, заметил полоску света под дверью папаши Горио. Опасаясь, не плохо ли его соседу, он приложил глаз к замочной скважине, заглянул в комнату и увидел старика за работой, казалось, настолько подозрительной, что студент решил оказать услугу обществу, хорошенько выследив ночные махинации так называемого вермишельщика. Папаша Горио еще раньше перевернул стол вверх ногами и привязал к его перекладине большую чашку и блюдо из позолоченного серебра, а теперь эти предметы, украшенные богатой чеканкой, он обвивал чем-то вроде каната, стягивая так сильно, что свертывал их трубкой, по-видимому, для того, чтобы превратить в слитки.

«Ого! Каков мужчина! – подумал Растиньяк, глядя на жилистые руки старика, пока он с помощью веревки мял, как тесто, позолоченное серебро. – Не вор ли он или сбытчик краденого, который только прикидывается немощным дурачком и живет как нищий, чтобы спокойно заниматься своим промыслом?» – спрашивал себя Эжен, выпрямляясь.

Студент снова приник глазом к замочной скважине. Папаша Горио размотал канат, взял ком серебра, положил его на стол, предварительно накрытый одеялом, и стал катать, придавая форму круглой чурки, – операция, с которой он справлялся изумительно легко.

«Да, силы в нем, пожалуй, не меньше, чем в польском короле Августе!» – подумал Эжен, когда серебряная чурка стала почти круглой.

Папаша Горио печально глянул на дело рук своих, из глаз его потекли слезы, он задул витую свечечку, при свете которой плющил серебро, и Растиньяк услышал,

как он, вздохнув, улегся спать.

«Это сумасшедший», – подумал студент.

– Бедное дитя! – громко произнес папаша Горио.

После таких слов Эжен решил, что лучше помолчать об этом происшествии и не осуждать столь опрометчиво соседа. Студент хотел было уйти к себе, но вдруг он услышал еле уловимое шуршанье, – как если бы по лестнице поднимались люди, обутые в мягкие покромчатые туфли. Эжен напряг слух и тогда в самом деле отчетливо различил дыхание каких-то двух людей. Не услышав ни скрипа двери, ни людских шагов, он сразу увидел слабый свет на третьем этаже, в комнате Вотрена.

«Вот сколько тайн в семейном пансионе!» – произнес он про себя.

Спустившись на несколько ступенек, он прислушался, и до его уха долетел звон золота. Вскоре свет погас, и хотя дверь опять не скрипнула, снова послышалось дыхание двух человек. Затем, по мере того как оба они спускались с лестницы, звук, удаляясь, замирал.

– Кто там ходит? – крикнула г-жа Воке, раскрыв свое окно.

– Это я, мамаша Воке, иду к себе, – ответил тихим басом Вотрен.

«Странно! Ведь Кристоф запер на засов, – недоумевал Эжен, входя к себе в комнату. – В Париже, чтобы хорошо знать все, что творится вокруг, не следует спать по ночам».

Два этих небольших события отвлекли его от честолюбиво-любовного раздумья, и он уселся за работу. Однако внимание студента рассеивалось подозрениями насчет папаша Горио, а еще больше – образом графини де Ресто, ежеминутно возникавшей перед ним как вестница его блестящего предназначенья; в конце концов он лег в постель и заснул сразу как убитый. Когда юноши решают посвятить всю ночь труду, они в семи случаях из десяти предаются сну. Чтобы не спать ночами, надо быть старше двадцати лет.

На следующее утро в Париже стоял тот густой туман, который так все закутывает, заволакивает, что даже самые точные люди ошибаются во времени. Деловые встречи расстраиваются. Бьет полдень, а кажется, что только восемь часов утра. В половине десятого г-жа Воке еще не поднималась с постели. Кристоф и толстуха Сильвия, тоже с опозданием, мирно попивали кофе со сливками, снятыми с молока, купленного для жильцов и подвергнутого Сильвией длительному кипячению, чтобы г-жа Воке не заметила такого незаконного побора.

- Сильвия, - обратился к ней Кристоф, макая в кофе первый свой гренок, - что там ни говори, а господин Вотрен человек хороший. Нынче ночью к нему опять приходили двое; ежели хозяйка станет справляться, ей ничего не надо говорить.

- А он дал что-нибудь тебе?

- Сто су за один месяц, - оно, значит, вроде как «помалкивай».

- Он да госпожа Кутюр одни не жмутся, а прочие так и норовят левой рукой взять обратно, что дают правой на Новый год, - сказала Сильвия.

- Да и дают-то что?! - заметил Кристоф. - Каких-нибудь сто су. Вот уже два года, как папаша Горио сам чистит себе башмаки. А этот скаред Пуаре обходится без ваксы; да он ее скорее вылижет, чем станет чистить ею свои шлепанцы. Что же до этого щуплого студента, так он дает мне сорок су. А мне дороже стоят одни щетки, да вдобавок он сам торгует своим старым платьем. Ну и трущоба!

- Это еще что! - ответила Сильвия, попивая маленькими глотками кофе. - Наше место как-никак лучшее в квартале; жить можно. А вот что, Кристоф... я опять насчет почтенного дядюшки Вотрена - с тобой ни о чем не говорили?

- Было дело. Тут на днях повстречался я на улице с одним господином, а он и говорит мне: «Не у вас ли проживает толстый господин, что красит свои баки?» А я ему на это: «Нет, сударь, он их не красит. Такому весельчаку не до того». Я, значит, доложил об этом господину Вотрену, а он сказал: «Хорошо сказано, паренек! Так всегда и отвечай. Чего уж неприятнее, как ежели узнают о твоих слабостях. От этого, глядишь, и брак расстроился».

– Да и ко мне на рынке подъезжали, не видела ли, дескать, я его, когда он надевает рубашку. Прямо смех! Слышишь, – сказала она, прерывая себя, – на Валь-де-Грас пробило уже без четверти десять, а никто и не шелохнется.

– Хватилась! Да никого и нет. Госпожа Кутюр со своей девицей еще с восьми часов пошли к причастию к Святому Этьену. Папаша Горио вышел с каким-то свертком. Студент вернется только в десять, после лекций. Я убирал лестницу и видел, как они уходили, еще папаша Горио задел меня своим свертком, твердым, как железо. И чем он только промышляет, этот старикашка? Другие его гоняют, как кубарь, а все-таки он человек хороший, лучше их всех. Дает-то он пустяки, зато уж дамы, к которым он посылает меня иной раз, отваливают на водку – знай наших, ну, да и сами разодеты хоть куда.

– Уж не те ли, что он зовет своими дочками? Их целая дюжина.

– Я ходил только к двум, тем самым, что приходили сюда.

– Никак хозяйка завозилась; поднимет сейчас гам, надо идти. Кристоф, постереги-ка молоко от кошки.

Сильвия поднялась к хозяйке.

– Что это значит, Сильвия? Без четверти десять, я сплю как сурок, а вам и горя мало. Никогда не бывало ничего подобного.

– Это все туман, такой, что хоть ножом его режь.

– А завтрак?

– Куда там! В ваших жильцов, видно, бес вселился, – они улепетнули ни свет ни пора.

– Выражайся правильно, Сильвия, – заметила г-жа Воке, – говорят: ни свет ни заря.

– Ладно, буду говорить по-вашему. А завтракать можете в десять часов. Мишонетка и ее Порей еще не ворошились. Только их и в доме, да и те спят как

колоды; колоды и есть.

– Однако, Сильвия, ты их соединяешь вместе, словно...

– Словно что? – подхватила Сильвия, заливаясь глупым смехом. – Из двух выходит пара.

– Странно, Сильвия, как это господин Вотрен вошел сегодня ночью, когда Кристоф уже запер засов?

– Даже совсем напротив, сударыня. Он услышал господина Вотрена и сошел вниз отпереть ему. А вы уж надумали...

– Дай мне кофту и поживее займись завтраком. Приготовь остатки баранины с картофелем и подай вареных груш, что по два лиара штука.

Через несколько минут Воке сошла вниз, как раз в то время, когда кот ударом лапы сдвинул тарелку, накрывавшую чашку с молоком, и торопливо лакал его.

– Мистигри! – крикнула Воке.

Кот удрал, но затем вернулся и стал тереться об ее ноги.

– Да, да, подмазывайся, старый подлюга! – сказала ему хозяйка. – Сильвия! Сильвия!

– Ну! Чего еще, сударыня?

– Смотри-ка, сколько вылакал кот!

– Это скотина Кристоф виноват, я же ему сказала накрыть на стол. Куда это он запропастился? Не беспокойтесь, сударыня: это молоко пойдет для кофе папаши Горио. Подолью воды, он и не заметит. Он ничего не замечает, даже что ест.

– Куда пошел этот шут гороховый? – спросила г-жа Воке, расставляя тарелки.

- Кто его ведает, где его черти носят?

- Переспала я, - заметила г-жа Воке.

- А свежи, как роза...

В эту минуту послышался звонок, и в столовую вошел Вотрен, напевая басом:

Объехал я весь белый свет

И счастлив был необычайно...

- Хо! Хо! Доброе утро, мамаша Воке, - сказал он, заметив хозяйку и игриво заключая ее в объятия.

- Ну же, бросьте...

- Скажите: «Нахал!» Говорите же! Вам ведь хочется сказать?.. Ну, так и быть, помогу вам накрывать на стол. Разве я не мил, а?

Блондинок и брюнеток цвет

Умел везде срывать...

Сейчас я видел нечто странное...

случайно...

- А что? - спросила вдова.

- Папаша Горио был в половине девятого на улице Дофины у ювелира, который скупает старое столовое серебро и галуны. Он продал ему за кругленькую сумму какой-то домашний предмет из золоченого серебра, сплюснутый очень здорово для человека без сноровки.

- Да ну, в самом деле?

– Да. Я шел домой, проводив одного своего приятеля, который уезжает совсем из Франции через посредство Компании почтовых сообщений; я дождался папаши Горио, чтобы понаблюдать за ним, – так, для смеху. Он вернулся в наш квартал, на улицу Де-Грэ, где и вошел в дом к известному ростовщику по имени Гобсек, – плут, каких мало, способен сделать костяшки для домино из костей родного отца; это еврей, араб, грек, цыган, но обокрасть его дело мудреное: денежки свои он держит в банке.

– А чем же занимается папаша Горио?

– А тем, что разоряется, – ответил Вотрен. – Этот болван настолько глуп, что тратится на девочек, а они...

– Вон он! – сказала Сильвия.

– Кристоф, – кликнул папаша Горио, – поднимись ко мне!

Кристоф последовал за Горио и вскоре сошел вниз.

– Ты куда? – спросила г-жа Воке слугу.

– По поручению господина Горио.

– А это что такое? – сказал Вотрен, вырывая из рук Кристофа письмо, на котором было написано: Графине Анастаси де Ресто. – Куда идешь? – спросил Вотрен, отдавая письмо Кристофу.

– На Гельдерскую улицу. Мне велено отдать это письмо графине в собственные руки.

– А что это там внутри?! – сказал Вотрен, рассматривая письмо на свет. – Банковский билет?.. Не то! – Он приоткрыл конверт. – Погашенный вексель! – воскликнул он. – Вот так штука! Любезен же старый дуралей. Иди, ловкач, – сказал он, накрывая своей лапой голову Кристофа и перевертывая его, как волчок, – тебе здорово дадут на водку.

Стол был накрыт. Сильвия кипятила молоко. Г-жа Воке разводила огонь в печке; хозяйке помогал Вотрен, все время напевая:

Объехал я весь белый свет

И счастлив был необычайно...

Когда все было уже готово, вернулись г-жа Кутюр и мадемуазель Тайфер.

– Откуда вы так рано, дорогая? – спросила у г-жи Кутюр г-жа Воке.

– Мы с ней молились у Святого Этьена дю Мона, ведь сегодня нам предстоит идти к господину Тайферу. Бедная девочка дрожит, как лист, – отвечала г-жа Кутюр, усаживаясь против печки и протягивая к топке свои ноги, обутые в ботинки, от которых пошел пар.

– Погрейтесь, Викторина, – предложила г-жа Воке.

– Просить Бога, чтобы он смягчил сердце вашего отца, дело хорошее, – сказал Вотрен, подавая стул сироте. – Но этого мало. Вам нужен друг, чтобы он выложил все начистоту этой свинье, этому дикарю, у которого, говорят, три миллиона, а он не дает вам приданого. По теперешним временам и красивой девушке приданое необходимо.

– Бедный ребенок, – посочувствовала г-жа Воке. – Послушайте, моя голубка, ваш отец – чудовище. Он накликает на себя всяких бед.

При этих словах на глаза Викторины навернулись слезы, и вдова замолчала, заметив знак, сделанный ей г-жой Кутюр.

– Хоть бы нам удалось повидать его, хоть бы я могла поговорить с ним и передать ему прощальное письмо его жены! – снова начала вдова интендантского комиссара. – Я не рискнула послать письмо по почте; он знает мой почерк.

– О женщины невинные, несчастные, гонимые, – воскликнул Вотрен, перебив ее, – до чего же вы дошли! На днях я займусь вашими делами, и все пойдет на лад.

– О господин Вотрен, – обратилась к нему Викторина, бросая на него влажный и горячий взор, не возмутивший, впрочем, спокойствия Вотрена, – если у вас окажется возможность повидать моего отца, передайте ему, что его любовь и честь моей матери мне дороже всех богатств мира. Если бы вам удалось смягчить его суровость, я стала бы молиться за вас Богу. Будьте уверены в признательности...

– «Объехал я весь белый свет...» – иронически пропел Вотрен.

В этот момент спустились вниз Пуаре, мадемуазель Мишоно и Горио, вероятно, привлеченные запахом подливки, которую готовила Сильвия к остаткам баранины. Когда нахлебники, приветствуя друг друга, сели за стол, пробило десять часов, и с улицы слышались шаги студента.

– Вот и хорошо, господин Эжен; сегодня вы позавтракаете со всеми вместе, – сказала Сильвия.

Студент поздоровался с присутствующими и сел рядом с папашей Горио.

– Со мною случилось удивительное приключение, – сказал он, наложив себе вдоволь баранины и отрезая кусок хлеба, причем г-жа Воке, как и всегда, прикинула на глаз вес этого куска.

– Приключение?! – воскликнул Пуаре.

– Так чему же вы дивитесь, старая шляпа? – сказал Вотрен, обращаясь к Пуаре. – Господин Эжен создан для приключений.

Мадемуазель Тайфер робко взглянула на юного студента.

– Расскажите же нам о вашем приключении, – попросила г-жа Воке.

– Вчера я был на балу у своей родственницы, викон-тессы де Босеан, в ее великолепном особняке, где комнаты обиты шелком. Короче говоря, она устроила нам роскошный праздник, на котором я веселился, как король...

– ...лёк, – добавил Вотрен, прерывая его речь.

– Что вы этим хотите сказать? – вспыхнул Эжен.

– Я говорю – королёк, потому что королям живется гораздо веселее, чем королям.

– Да, это верно, – заметил «да?кальщик» Пуаре, – я бы скорее предпочел быть этой беззаботной птичкой, чем королем, потому что...

– На этом балу, – продолжал студент, обрывая Пуаре, – я танцевал с одной из первых красавиц, восхитительной графиней, самым прелестным созданием, какое когда-либо встречал. Цветы персика красовались у нее на голове, сбоку был приколот изумительный букет живых, благоухающих цветов. Да что там! Разве женщина, одухотворенная танцем, поддается описанию? Надо ее видеть! И вот сегодня, около девяти часов утра, я встретил эту божественную графиню; она шла пешком по улице Де-Грэ. О, как забилось мое сердце, я вообразил, что...

– ...что она шла сюда, – продолжал Вотрен, окинув студента глубоким взглядом. – А всего верней шла она к дядюшке Гобсеку, к ростовщику. Если вы когда-нибудь копнете в сердце парижской женщины, то раньше вы найдете там ростовщика, а потом уже любовника. Вашу графиню зовут Анастаси де Ресто, и живет она на Гельдерской улице.

При этом имени студент пристально взглянул на Вотрена. Папаша Горио резко вскинул голову и устремил на обоих собеседников живой и тревожный взор, поразивший всех.

– Кристоф пришел слишком поздно: она туда уже ходила! – скорбно воскликнул Горио.

– Я угадал, – сказал Вотрен на ухо г-же Воке.

Горио ел машинально, не разбирая, что он ест. Никогда не казался он до такой степени бестолковым и поглощенным своей заботой, как в этот раз.

– Господин Вотрен, какой бес назвал вам ее имя? – спросил Эжен.

– Ага! Вот оно что! Папаша-то Горио знает его отлично! Почему же не знать и мне?!

– Господин Горио! – окликнул его студент.

– А? Что? Так вчера она была очень красива? – спросил бедняга старик.

– Кто?

– Госпожа де Ресто.

– Взгляните на старого скрягу, как разгорелись у него глаза! – сказала Вотрену г-жа Воке.

– Уж не ее ли он содержит? – шепнула студенту мадемуазель Мишоно.

– О да! Она была бесподобно хороша, – продолжал Эжен, на которого жадно смотрел папаша Горио. – Не будь самой госпожи де Босеан, моя божественная графиня была бы царицей бала, молодые люди только и смотрели что на нее, я оказался двенадцатым в ее списке кавалеров; она была занята во всех контрдансах. Все остальные женщины бесились. Если кто был вчера счастлив, так это она. Совершенно правильно говорят, что нет ничего красивее фрегата под всеми парусами, лошади на галопе и женщины, когда она танцует.

– Вчера – наверху счастья, у герцогини, а утром – на последней ступени бедствия, у ростовщика: вот вам парижанка! – сказал Вотрен. – Когда мужья не в состоянии поддерживать их необузданную роскошь, жены торгуют собой. А если не умеют продаваться, распотрошат родную мать, лишь бы найти, чем блеснуть. Словом, готовы на все, что угодно. Старо, как мир!

Лицо папаша Горио, сиявшее, как солнце в ясный день, пока он слушал Растиньяка, сразу омрачилось при этом жестоком замечании Вотрена.

– Ну, а где же ваше приключение? – спросила г-жа Воке. – Вы разговаривали с ней? Спрашивали, не собирается ли она изучать право?

– Она не видела меня, – ответил Эжен. – Но встретить одну из самых красивых парижанок на улице Де-Грэ в девять часов утра, если она, наверно, вернулась с бала в два часа ночи, разве это не странно? Только в Париже и возможны такого рода приключения.

– Ну-ну! Бывают позабавнее! – воскликнул Вотрен.

Мадемуазель Тайфер была так поглощена предстоящим свиданием с отцом, что еле слушала. Г-жа Кутюр подала ей знак, чтобы она встала из-за стола и шла одеваться. Когда обе дамы вышли, папаша Горио последовал их примеру.

– Ну что! Видали? – сказала г-жа Воке Вотрену и остальным пансионерам. – Ясно, что он разорился на подобных женщин.

– Меня не уверят никогда, что красавица графиня де Ресто принадлежит папаше Горио! – воскликнул студент.

– Да мы и не стремимся вас уверить, – перебил его Вотрен. – Вы еще слишком молоды, чтобы знать хорошо Париж; но когда-нибудь вы узнаете, что в нем встречаются, как мы их называем, одержимые страстями.

При этих словах мадемуазель Мишоно насторожилась и бросила на Вотрена понимающий взгляд. Ни дать ни взять – полковая лошадь, услышавшая звук трубы.

– Так! Так! – перебил себя Вотрен, пристально взглянув на Мишоно. – Уж не было ли и у нас кое-каких страстишек?

Старая дева потупила глаза, словно монашенка при виде голых статуй.

– И вот, – продолжал Вотрен, – эти люди уцепятся за какую-нибудь навязчивую идею так, что не отцепишь. Жаждут они воды определенной, из определенного колодца, нередко затхлого, и чтобы напиться из него, они продадут жен и детей, продадут душу черту. Для одних такой колодец – азартная игра, биржа, собирание картин или насекомых, музыка; для других – женщина, которая умеет их полакомить. Предложите этим людям всех женщин мира, им наплевать: подай им только ту, которая удовлетворяет их страстям. Частенько эта женщина

вовсе их не любит, помыкает ими и очень дорого продает им крохи удовлетворения, и что же? – моим проказникам это не претит: они снесут в ломбард последнее одеяло, чтобы принести ей последнее свое эку. Папаша Горио из их числа. Графиня обрабатывает его, потому что он не болтлив, – вот вам высший свет! Жалкий чудак только о ней и думает. Вне своей страсти, вы сами видите, он тупое животное. А наведите-ка его на эту тему, и лицо его заиграет, как алмаз. Разгадка его тайны – штука нехитрая. Сегодня утром он отнес серебряную вещь на перелив; я видел, как он входил к дядюшке Гобсеку на улице Де-Грэ. Следите хорошенько! Придя оттуда, он посылает к графине де Ресто этого дурака Кристофа, который показал нам адрес на письме, куда был вложен погашенный вексель. Ясно, что раз графиня тоже ходила к старому ростовщику, значит, дело было крайне спешное. Папаша Горио любезно уплатил вместо нее. Чтобы разобраться в этом деле, не надо быть семи пядей во лбу. Все доказывает вам, юный мой студент, что, пока графиня смеялась, танцевала, ломалась, потряхивала персиковыми цветами и подбирала пальчиками платье, – у ней, как говорится, сердце было не на месте при мысли о просроченных векселях – своих или любовника.

– Вы возбуждаете во мне непреодолимое желание узнать правду. Завтра же пойду к графине де Ресто! – воскликнул студент.

– Да, – подтвердил Пуаре, – завтра надо пойти к графине де Ресто.

– Может быть, вы встретите там и чудака Горио, который явится получить что следует за свою любезность.

– Значит, ваш Париж – грязное болото, – сказал Эжен с отвращением.

– И презабавное, – добавил Вотрен. – Те, кто пачкается в нем, разъезжая в экипажах, – это порядочные люди, а те, кто пачкается, разгуливая пешком, – мошенники. Стащите, на свою беду, какую-нибудь безделку, вас выставят на площади Дворца правосудия[28 - ...выставят на площади Дворца правосудия... – Имеется в виду выставление у позорного столба – наказание, которое во Франции было отменено только в 1848 г.], как диковину. Украдите миллион, и вы во всех салонах будете ходячей добродетелью. Для поддержания такой морали вы платите тридцать миллионов в год жандармам и суду. Мило!

– Как? Папаша Горио продал на перелив свою серебряную золоченую чашку? – воскликнула Воке.

– Не было ли там на крышке двух горлинок? – спросил Эжен.

– Вот именно.

– А ведь он очень дорожил своим прибором, он плакал, когда плющил блюдо и чашку. Случайно я это видел, – сказал Эжен.

– Они ему были дороже жизни, – ответила Воке.

– Видите, какая страсть в нашем чудаче! – воскликнул Вотрен. – Эта женщина знает, как его раззадорить.

Студент поднялся к себе наверх. Вотрен ушел из дому. Через несколько минут г-жа Кутюр и Викторина сели в фиакр, за которым посылали Сильвию. Пуаре предложил руку мадемуазель Мишоно, и они вдвоем отправились в Ботанический сад – провести там два часа лучшего времени дня.

– Ну вот, они вроде как и женаты, – сказала толстуха Сильвия. – Сегодня первый раз выходят вместе. Оба до того сухи, что, стукнись они друг об дружку, так брызнут искры, будто от огнива.

– Тогда прощай шаль мадемуазель Мишоно: загорится, словно трут, – смеясь заметила г-жа Воке.

Вернувшись в четыре часа дня, папаша Горио увидел при свете коптивших ламп Викторину с красными от слез глазами. Г-жа Воке слушала рассказ о неудачной утренней поездке к г-ну Тайферу. Досадуя на настойчивость дочери и этой старой женщины, Тайфер решил принять их, чтобы объясниться.

– Представьте себе, дорогая моя, – жаловалась г-жа Кутюр вдове Воке, – он даже не предложил Викторине сесть, и она все время стояла. Мне же он сказал без раздраженья, совершенно холодно, чтобы мы не трудились ходить к нему и что мадемуазель, – он так и не назвал ее дочерью, – уронила себя в его мнению, беспокоя его так назойливо (один-то раз в год, чудовище!); что, мол, Викторине

не на что притязать, так как ее мать вышла замуж, не имея состояния; словом, наговорил самых жестоких вещей, отчего бедная девочка залилась горячими слезами. Она бросилась к ногам отца и мужественно заявила, что была так настойчива лишь ради матери и безропотно подчинится его воле, но умоляет его прочесть завещание покойницы; достала письмо и подала ему, говоря самые трогательные, чудесные слова; даже не знаю, откуда они у нее брались, видно, их подсказал ей сам Бог: такое вдохновение нашло на бедного ребенка; я слушала ее и плакала, как дурочка. А знаете, как вел себя этот ужасный человек? Он стриг ногти, письмо же, омоченное слезами бедной госпожи Тайфер, швырнул на камин, сказав: «Хорошо!» Он хотел поднять дочь с пола, но Викторина хватала и целовала его руки, а он их вырывал. Разве это не злодейство? Тут вошел его дуралей-сын и даже не поздоровался с сестрой.

– Ведь это же чудовища! – воскликнул папаша Горио.

– Затем, – продолжала г-жа Кутюр, не обращая внимания на восклицание старика, – отец и сын распрощались с нами, ссылаясь на спешные дела. Вот вам и все наше посещение. По крайней мере, он видел свою дочь. Не понимаю, как он может отречься от нее, ведь они похожи друг на друга, как две капли воды.

Жильцы и нахлебники со стороны, прибывая друг за другом, обменивались приветствиями и всяким вздором, который в известных слоях парижского общества часто сходит за веселое остроумие, – его основой является какая-нибудь нелепость, а вся соль – в произношении и жесте. Этот жаргон непрестанно меняется. Шутка, порождающая его, не живет и месяца. Политическое событие, уголовный процесс, уличная песенка, выходки актеров – все служит пищей для подобной игры ума, состоящей в том, что собеседники, подхватив на лету какую-нибудь мысль или словцо, перекидывают их друг другу, как волан. После недавнего изобретения диорамы[29 - Разница между панорамой и диорамой состояла в том, что в первой зрители оставались неподвижны, а полотно с изображением постепенно разворачивалось перед их глазами; напротив, в диораме неподвижным было полотно (картина на обеих сторонах прозрачной ткани), двигался же источник света. В реальности первая диорама была открыта в 1822 г., то есть на три года позже того момента, когда происходит действие романа.], достигшей более высокой степени оптической иллюзии, чем панорама, в некоторых живописных мастерских привилась нелепая манера добавлять к словам окончание «рама», и эту манеру, как некий плодоносный черешок, привил к «Дому Воке» один из завсегдатаев, юный

художник.

– Ну, господин Пуаре, – сказал музейный чиновник, – как ваше здоровье рама? – И, не дожидаясь ответа, обратился к г-же Кутюр и Викторине: – Милые дамы, у вас горе?

– А будем мы обедать? Мой желудок ушел *usque ad talones*[30 - В пятки (лат.)], – воскликнул студент-медик Орас Бьяншон[31 - Орас Бьяншон действует в 29 произведениях «Человеческой комедии», выступая, как правило, рассказчиком или доверенным лицом главного героя.], друг Растиньяка.

– Какая сегодня студерама! – заметил Вотрен. – Ну-ка, подвиньтесь, папаша Горио. Какого черта! Вы своей ногой заслонили все устье печки.

– Достославный господин Вотрен, – сказал Бьяншон, – а почему вы говорите «студерама»? Это неправильно, надо – «стужерама».

– Нет, – возразил музейный чиновник, – надо – «студерама», – ведь говорится: «студень».

– Ха! Ха!

– А вот и его превосходительство маркиз де Растиньяк, доктор кривдоведения! – воскликнул Бьяншон, хватая Эжена за шею и сжимая ее, как будто собирался задушить его. – Эй вы, ко мне, на помощь!

Мадемуазель Мишоно вошла тихонько, молча поклонилась, молча села рядом с тремя женщинами.

– Меня всегда пробирает дрожь от этой старой летучей мыши, – шепнул Бьяншон Вотрену. – Я изучаю систему Галля[32 - Немецкий естествоиспытатель Франц Иосиф Галль (1758–1828) создал френологию – науку об определении черт характера по форме черепа.] и нахожу у Мишоно шишки Иуды.

– А вы были с ним знакомы? – спросил Вотрен.

– Кто же с ним не встречался! – ответил Бьяншон. – Честное слово, эта белесая старая дева производит впечатление одного из тех длинных червей, которые в конце концов съедают целую балку.

– Это значит вот что, молодой человек, – произнес Вотрен, разглаживая бакенбарды:

И розой прожила[33 - «И розой прожила...» – цитата из хрестоматийно известного стихотворения Франсуа Малерба «Утешение г-на Дюперье» (1598).], как розы, только утро —

Их красоты предел.

– Ага, вот и замечательный суп из чеготорамы! – воскликнул Пуаре, завидев Кристофа, который входил, почтительно неся похлебку.

– Простите, это суп из капусты, – ответила г-жа Воке.

Все молодые люди покатались со смеху.

– Влип Пуаре!

– Пуарета влипла!

– Отметьте два очка маменьке Воке, – сказал Вотрен.

– Вы обратили внимание на туман сегодня утром? – спросил музейный чиновник.

– То был, – сказал Бьяншон, – туман неистовый и беспримерный, туман удушливый, меланхолический, унылый, беспросветный, как Горио.

– Гориорама, потому что в нем ни зги не видно, – пояснил художник.

– Эй, милорд Гоуриотт, это разговаривайте об уас.

Сидя в конце стола у двери, в которую входила подававшая прислуга, папаша Горио приподнял голову и нюхал взятый из-под салфетки кусок хлеба, – по

старой коммерческой привычке, еще проявлявшейся иногда.

– Ну, по-вашему, не хорош, что ли, хлеб? – резко крикнула Воке, покрывая своим голосом звон тарелок, ложек и голоса других.

– Наоборот, сударыня, он испечен из этампской муки первого сорта, – ответил Горио.

– Откуда вы это знаете? – спросил Эжен.

– По белизне, на вкус.

– На вкус носа? Ведь вы же нюхаете хлеб, – сказала г-жа Воке. – Вы становитесь так бережливы, что в конце концов найдете способ питаться запахом из кухни.

– Тогда возьмите патент на это изобретение – наживете большое состояние! – крикнул музейный чиновник.

– Полноте, он это делает, чтобы убедить нас, будто был вермишельщиком, – заметил художник.

– Так у вас не нос, а колба? – снова ввязался музейный чиновник.

– Кол?.. как? – спросил Бьяншон.

– Кол-о-бок.

– Кол-о-кол.

– Кол-о-брод.

– Кол-ода.

– Кол-баса.

– Кол-чан.

– Кол-пик.

– Кол-рама.

Восемь ответов прокатились по зале с быстротою беглого огня и вызвали тем больше смеха, что папаша Горио бессмысленно глядел на сотрапезников, напоминая человека, который старается понять чужой язык.

– Кол?.. – спросил он Вотрена, сидевшего с ним рядом.

– Кол-пак, старина! – ответил Вотрен и, хлопнув ладонью по голове папаши Горио, нахлобучил ему шляпу по самые глаза. Бедный старик, озадаченный этим внезапным нападением, продолжал сидеть некоторое время неподвижно. Кристоф унес его тарелку, думая, что старик кончил есть суп, и когда папаша Горио, сдвинув со лба шляпу, взялся за ложку, он стукнул ею по пустому месту. Раздался взрыв общего смеха.

– Сударь, – сказал старик, – вы шутник дурного тона, и, если вы позволите себе еще раз так нахлобучивать...

– То что будет, папенька? – прервал его Вотрен.

– То когда-нибудь вы дорого поплатитесь за это...

– В аду, не правда ли? – спросил художник. – В том темном уголке, куда ставят в наказание озорных ребят!

– Мадемуазель, что же вы не кушаете? – обратился Вотрен к Викторине. – Видно, ваш папенька оказался упористым?

– Один ужас, – ответила г-жа Кутюр.

– Надо наставить его на ум.

– Но поскольку мадемуазель не ест, – сказал Растиньяк, сидевший рядом с Бьяншоном, – она могла бы возбудить иск о возврате денег за питание. Э! Э!

Глядите, как папаша Горио уставился на мадемуазель Тайфер.

Старик, забыв обиду, разглядывал бедную девушку, в чертах которой ярко отражалось неподдельное страдание, страдание дочери, любящей своего отца и отвергнутой им.

– Дорогой мой, – говорил шепотом Эжен Бьяншону, – мы ошибались относительно папаши Горио. Это не дурак и не человек без нервов. Приложи к нему твою систему Галля и поделись со мной своими мыслями на этот счет. Я видел этой ночью, как он скручивал серебряное золоченое блюдо, точно оно из воска, и сейчас его лицо говорит о незаурядных чувствах. Жизнь его кажется мне очень таинственной и стоит изучения. Напрасно смеешься, Бьяншон, я не шучу.

– Что этот человек – врачебный случай, я согласен, – ответил Бьяншон, – и если он захочет, я готов произвести вскрытие.

– Нет, ты пощупай его голову.

– Ишь ты, а вдруг его глупость заразительна!

На следующий день, часа в три, Растиньяк, одетый очень элегантно, отправился к графине де Ресто, предаваясь дорожной тем безрассудно-ветреным надеждам, что вносят в жизнь молодых людей столько прекрасных, волнующих переживаний; тогда для них не существует ни препятствий, ни опасностей, – они во всем видят успех, поэтизируют свою жизнь одной игрой воображения, а когда рушатся их планы, основанные только на необузданных желаньях, то сразу впадают в уныние и чувствуют себя несчастными; хорошо, что они неопытны и робки, иначе общественный порядок стал бы невозможен. Эжен шел, принимая все предосторожности, чтобы не запылиться, но в то же время обдумывал свой разговор с графиней де Ресто, запасался остроумием, сочинял ответы в воображаемой беседе, оттачивал тонкие выражения и фразы в духе Талейрана, предполагая всякие счастливые возможности для любовного признания, на котором он строил свое будущее. Студент, однако, запылится, – пришлось в Пале-Рояле чистить штаны и сапоги.

«Будь я богат, – размышлял Эжен, разменивая монету в сто су, взятую на крайний случай, – ехал бы я себе в карете и мог бы думать на свободе».

Наконец он добрался до Гельдерской улицы и спросил графиню де Ресто. Как человек, уверенный в своем конечном торжестве, Эжен с немой яростью, но все же выдержал презрительные взгляды челяди, заметившей, что он шел пешком по двору, и не слыхавшей шума экипажа у ворот. Эти взгляды ощущались тем острее, что Эжен пережил чувство унижения, еще входя во двор, где била копытами о землю красивая лошадь в богатой сбруе, запряженная в щегольской кабриолет такого пошиба, какой гласит о расточительно широкой жизни и вызывает мысль о привычке ко всем парижским благам. Предоставленный самому себе, Эжен впал в уныние. Ящички, открывшиеся у него в мозгу и, по его расчетам, наполненные остроумием, вдруг захлопнулись: он поглупел. Пока лакей ходил докладывать графине о пришедшем госте, Эжен ждал ответа в передней у окна и, упираясь одной ногою в пол, облокотясь на шпингалет, машинально смотрел во двор. Время тянулось бесконечно, и он ушел бы, не будь в нем южного упорства, способного делать чудеса, когда оно идет напролом.

– Сударь, – обратился к нему лакей, – графиня в будуаре и очень занята, она мне не ответила; если вам угодно, пройдите в гостиную, там уже есть гость.

Изумляясь страшной власти этой челяди, способной одним словом вынести приговор своим хозяевам, Растиньяк, – наверно, думая показать наглецам-лакеям, что ему все в доме известно, – смело открыл дверь, откуда только что вышел лакей, и влетел в комнату, где находились буфеты, лампы и прибор для нагревания купальных полотенец; там же был выход в темный коридор и на внутреннюю лестницу. Подавленный смех донесся из передней и довершил смущение Эжена.

– Сударь, в гостиную пожалуйста сюда, – сказал ему лакей с деланой почтительностью, звучащей как новая насмешка.

Эжен бросился обратно так стремительно, что наскочил на ванну, но, к счастью, удержал на голове цилиндр, который чуть не упал в налитую воду. В эту минуту в конце длинного коридора, освещенного небольшой лампой, растворилась дверь, и Растиньяк услышал голос графини де Ресто и папаши Горио, а затем звук поцелуя. Эжен вошел в столовую, пересек ее в сопровождении лакея и наконец попал в первую гостиную, где и остановился у окна, заметив, что оттуда виден двор. Ему хотелось посмотреть на этого папашу Горио: был ли он

настоящим папашей Горио? У Эжена забилось сердце: он вспомнил страшные рассуждения Вотрена. Лакей ждал Растиньяка у дверей второй гостиной, как вдруг оттуда вышел изящный молодой человек, досадливо сказав:

– Морис, я ухожу. Передайте графине, что я ждал ее больше получаса.

Этот нахал, – вероятно, пользовавшийся здесь особыми правами, – напевая вполголоса итальянскую руладу, подошел к окну, где стоял Эжен, чтобы разглядеть лицо студента и посмотреть во двор.

– Не изволите ли, господин граф, подождать еще минутку, графиня закончила свои дела, – сказал Морис, возвращаясь к себе в переднюю.

Как раз в эту минуту папаша Горио вышел по черной лестнице к воротам. Старичок расправлял свой зонтик и собирался его раскрыть, не обратив внимания на то, что ворота открыты настежь и в них въезжает тильбюри, которым правит молодой человек с орденом в петлице. Папаша Горио едва успел отскочить назад, чтобы его не раздавили. Лошадь испугалась зонтика, кинулась в сторону и понеслась к подъезду. Молодой человек в тильбюри обернулся и, увидав папашу Горио, приветствовал его таким поклоном, каким скрепя сердце изъявляют уважение к нужному ростовщику или навязанное обстоятельствами почтение к запятнанному человеку, за что приходится потом краснеть. Папаша Горио добродушно ответил дружеским кивком. Все это произошло молниеносно. Обратив все свое внимание на этот эпизод, Эжен не замечал, что он в гостиной не один, и вдруг услышал голос графини де Ресто.

– Как, Максим, вы уходите? – сказала она с упреком и некоторой досадой.

Прибытие тильбюри ускользнуло от внимания графини. Растиньяк круто повернулся и увидел графиню: она была кокетливо одета в пеньюар из белого кашемира с розовыми бантами, причесана небрежно, как это бывает у парижанок по утрам; от нее шел аромат духов; она, наверно, приняла ванну, и красота ее, так сказать, смягченная, носила более чувственный характер, глаза подернулись влагой. Взор молодых людей все видит, их чувства собирают воедино все излучения женщины, как растение вбирает в себя из воздуха необходимые для жизни вещества. Эжену не было надобности касаться рук графини, чтобы почувствовать их молодую свежесть. Ее грудь розоватыми тонами просвечивала сквозь кашемир и временами, когда чуть-чуть

распахивался пень-юар, немного обнажалась, приковывая к себе взор Эжена. Графиня не нуждалась в помощи корсета, и только пояс подчеркивал стройность ее талии; шея призывала к любви, а ножки в ночных туфельках пленяли красотой. Лишь в тот момент, когда Максим взял ее руку, чтобы поцеловать, Эжен его заметил, а графиня заметила Эжена.

– Это вы, господин де Растиньяк? Очень рада вас видеть, – сказала она таким тоном, что умные люди сразу поняли бы, как надо поступить.

Де Трай поглядывал то на Эжена, то на графиню достаточно многозначительно, чтобы заставить непрошеного гостя удалиться. «Это еще что! Надеюсь, дорогая, ты выставишь молодчика за дверь!» Эта фраза ясно, точно передала бы то, что нагло выражал взглядом высокомерный молодой человек – Максим, как называла его графиня Анастаси, всматриваясь ему в лицо с такой готовностью повиноваться, которая разоблачает все тайны женщины помимо ее сознания и воли.

Растиньяк проникся дикой ненавистью к этому молодому человеку. Прежде всего, глядя на белокурые, красиво завитые волосы Максима, он понял, насколько его собственная прическа отвратительна. К тому же Максим был в тонких чистых сапогах, а на сапогах Эжена, несмотря на все его заботы, обозначался легкий налет пыли. В довершение всего сюртук на этом денди изящно облегал талию и придавал ему сходство с красивой женщиной, а на Эжене днем, в половине третьего, был черный фрак. Умный юноша с берегов Шаранты сообразил, какое превосходство давал костюм высокому и тонкому денди с ясным взглядом, с бледной кожей – из числа тех, кто может обобрать и сироту.

Графиня де Ресто не стала дожидаться ответа Растиньяка и порхнула в другую гостиную, как на крыльях, распустив полы пеньюара, – они свивались, развивались и придавали ей вид бабочки; Максим последовал за ней. Взбешенный Эжен устремился за Максимом и графиней... Все трое сошлись на середине большой гостиной, против камина. Студент отлично сознавал, что служит помехой ненавистному Максиму; и все-таки, рискуя возбудить против себя неудовольствие графини, решил помешать денди. Эжен вспомнил, что видел этого молодого человека на балу у г-жи де Босеан, и в один миг сообразил, какую роль играл Максим у графини де Ресто; он с юношеской дерзостью, которая приводит к большим глупостям или к большим успехам, сказал себе: вот мой соперник, хочу торжествовать над ним!

Безрассудный юноша! Он не знал, что граф Максим де Трай, намеренно вызвав на дерзость, стрелял первым и убивал противника. Эжен был опытный охотник, но в тире он из двадцати двух фигур-мишеней еще не сбивал двадцати.

Молодой граф сел на диванчик у камина и, взяв щипцы, начал с такой яростью, с такой досадой мешать уголь, что красивое лицо Анастаси сразу затуманилось. Молодая женщина обернулась к Эжену и бросила на него холодно-вопросительный взгляд, говоривший настолько ясно: «Почему же вы не уходите?» – что благовоспитанные люди сейчас же нашли бы соответствующую фразу, одну из тех, что можно бы назвать фразами на прощанье.

Эжен, сделав приятное лицо, сказал:

– Мадам, я поспешил увидеть вас, чтобы... – он запнулся.

Дверь отворилась. Внезапно появился господин без шляпы, – тот, что правил тильбюри, – не поздоровался с графиней, взглянул угрюмо на студента и подал руку Максиму, произнес «добрый день» каким-то братским тоном, что чрезвычайно удивило Растиньяка. Провинциальным молодым людям неведома вся прелесть жизни треугольником.

– Господин де Ресто, – представила графиня Эжену своего мужа.

Эжен отвесил глубокий поклон.

– Господин де Растиньяк, – продолжала графиня, представляя Эжена графу де Ресто. – Он родственник виконтессы де Босеан – через Марсийяков, и я имела удовольствие с ним встретиться у нее на последнем бале.

Графиня произнесла это почти напыщенно, с особой гордостью, свойственной хозяйкам дома, когда они могут доказать, что у них бывают только избранные; слова родственник виконтессы де Босеан – через Марсийяков произвели магическое действие – граф оставил свой холодно-церемонный тон и приветствовал Эжена:

– Счастлив с вами познакомиться.

Даже граф Максим де Трай тревожно взглянул на Растиньяка и сразу утратил свой наглый вид. Это прикосновение волшебной палочки, совершенное могуществом одного только имени, раскрыло все тридцать ящичков в мозгу южанина, вернув Эжену заготовленное остроумие. Какой-то свет внезапно озарил ему всю атмосферу в парижском высшем обществе, для него еще неясную. «Дом Воке», папаша Горио ушли из его мыслей куда-то очень далеко.

– Род Марсийяков я считал угасшим, – сказал граф де Ресто.

– Да, – отвечал Эжен. – Мой двоюродный дед, шевалье де Растиньяк, женился на последней представительнице рода де Марсийяков. У него была только одна дочь, вышедшая замуж за маршала де Кларембо, деда госпожи де Босеан с материнской стороны. Мы – младшая линия, линия бедная, тем более что мой двоюродный дед, вице-адмирал, потерял все на королевской службе. Революционное правительство, ликвидируя Ост-Индскую компанию[34 - Французская Индийская компания была создана во второй половине XVII века для торговли с Индией, Китаем и Сенегалом; ликвидирована Конвентом в 1793 г., причем комиссары, занимавшиеся ликвидацией, были, как выяснилось впоследствии, замешаны в крупных денежных спекуляциях.], не захотело признать долговых претензий к ней.

– Не командовал ли ваш двоюродный дед «Мстителем» до тысяча семьсот восемьдесят девятого года?

– Совершенно верно.

– В таком случае он знал моего деда, который командовал «Варвиком».

Максим взглянул на графиню де Ресто и слегка пожал плечами, как бы говоря: «Если он примется толковать о флоте с этим господином, то все для нас пропало». Анастаси поняла его взгляд. С удивительным сознанием женской власти она сказала, улыбаясь:

– Идемте, Максим, у меня есть к вам одна просьба. Господа, мы предоставляем вам свободу совместно плавать на «Мстителе» и «Варвике».

Графиня встала, с лукавой усмешкой подала знак Максиму, и оба направились к будюару. Едва эта морганатическая чета – прекрасное немецкое выражение, не

имеющее соответствия во французском языке, – дошла до двери, как граф прервал свой разговор с Эженом, сказав недовольным тоном:

– Анастази! Оставайтесь, дорогая, здесь, – вы хорошо знаете, что...

– Сейчас! Сейчас! – ответила она, не дав ему договорить. – Я только на одну минуту: дать поручение Максиму.

Графиня быстро вернулась. Все женщины, вынужденные считаться с характером мужей, чтобы иметь возможность вести себя как хочется, хорошо знают, до какого предела можно доходить, не теряя драгоценного доверия, и тщательно избегают столкновений с мужьями из-за мелочей жизни, – поэтому и графиня сразу заметила по изменившемуся тону графа де Ресто, что пребывание в будуаре не лишено опасности. Этой помехой она была обязана Эжену. Выражая всем своим видом досаду, графиня глазами указала Максиму на студента, – тогда де Трай, обращаясь к графу, его жене и Растиньяку, насмешливо сказал:

– Вы заняты серьезными делами, я не хочу мешать вам, прощайте, – и быстро вышел.

– Оставайтесь, Максим! – крикнул ему граф.

– Приходите обедать, – добавила графиня и, вторично оставив Эжена с графом, пошла вслед за Максимом в первую гостиную, где они пробыли довольно долго, рассчитывая, что за это время граф де Ресто выпроводит студента.

Растиньяк слышал, как они то заливались смехом, то говорили, то смолкали; но коварный студент щеголял остроумием перед графом де Ресто, льстил ему и вступал с ним в спор, надеясь вновь увидеть графиню и определить характер ее отношений с папашей Горио. Женщина, явно влюбленная в Максима, жена, вертевшая своим мужем и связанная таинственными узами со старым вермишельщиком, представляла для Растиньяка загадку. Он жаждал проникнуть в ее тайну, надеясь таким образом достигнуть полного господства над этой женщиной, парижанкой с ног до головы.

– Анастази! – снова позвал свою жену граф.

– Ну, бедный мой Максим, – сказала она молодому человеку, – надо покориться. До вечера...

– Нази, – сказал Максим ей на ухо, – когда приоткрывался ваш пеньюар, у этого молодчика глаза горели, как угли, – надеюсь, вы больше не пустите его к себе в дом. Он станет объясняться вам в любви, будет вас компрометировать, и ради вас я буду вынужден его убить.

– Да вы с ума сошли, Максим! – сказала она. – Наоборот, такие студентики могут служить замечательным громоотводом[35 - ...могут служить замечательным громоотводом. – Эту женскую уловку Бальзак описал шестью годами раньше в своей «Физиологии брака» (1829), в главе «Основы стратегии»: «...возвращаясь домой, муж осведомляется у привратника: «У нас кто-нибудь был?» – «Около двух заезжал господин барон; он хотел повидать вас, сударь, но, узнав, что вас нет дома, не стал заходить, а вот господин такой-то и теперь наверху». Вы входите в гостиную и застаете жену в обществе юного холостяка, разряженного, надушенного, щеголяющего безупречно повязанным галстуком, – одним словом, истинного денди. Он держится с вами почтительно, жена ваша в его отсутствие украдкой прислушивается – не идет ли он, а когда он приходит, танцует с ним одним; если вы запрещаете ей с ним видеться, она приходит в негодование, и лишь много лет спустя вы обнаруживаете безгрешность господина такого-то и виновность барона».]. Разумеется, я постараюсь, чтобы он пришелся не по вкусу графу де Ресто.

Максим расхохотался и вышел в сопровождении графини; она остановилась у окна и наблюдала, как он садился в экипаж, горячил лошадь и помахивал бичом. Графиня де Ресто вернулась лишь тогда, когда за ним закрылись главные ворота.

– Представьте себе, – обратился к ней граф, – имение, где живет семья господина де Растиньяка, оказывается, недалеко от Вертэй, на Шаранте. Двоюродный дед господина де Растиньяка и мой дед были знакомы.

– Я рада, что у нас есть общие знакомые, – рассеянно ответила графиня.

– И больше, чем вы предполагаете, – заметил студент, понизив голос.

– Каким образом? – оживленно спросила она.

– Я только что видел, – продолжал студент, – как от вас вышел господин, с которым я живу дверь в дверь, в одном и том же пансионе; я говорю о папаше Горио.

Услышав это имя, приправленное словом «папаша», граф, мешавший жар в камине, бросил щипцы в камин, словно они обожгли ему руки, и встал.

– Милостивый государь, вы могли бы сказать: «господин Горио»! – воскликнул он.

Графиня, заметив раздражение мужа, сначала побледнела, затем покраснела и явно пришла в замешательство; стараясь придать своему голосу естественность, она с деланой развязностью заметила:

– Нет человека, которого бы мы так любили...

Не dokonчив, она, словно под влиянием какой-то мелькнувшей у нее мысли, взглянула на фортепьяно и спросила Растиньяка:

– Вы любите музыку?

– Очень, – ответил ей Эжен, покраснев и растерявшись от смутного сознания, что сделал какой-то нелепый промах.

– Вы поете? – отрывисто спросила она, направляясь к фортепьяно, и, сильно ударя по клавишам, пробежала их все от нижнего до и до верхнего фа – rrrra!

– Нет, мадам.

Граф де Ресто ходил взад и вперед по комнате.

– Жаль: вы лишены очень верного средства иметь успех. «Са-а-го, Са-а-аго, Саа-а-а-аго, non dubitare!..»[36 - Милый, оставь сомненья! (итал.)] – спела графиня.

Назвав имя папаши Горио, Эжен опять привел в действие волшебную палочку, но оно было обратно тому, какое вызвали слова: «родственник виконтессы де

Босеан». Он оказался в положении человека, который удостоился получить доступ к любителю редкостей и нечаянно задел за шкаф со статуэтками, отчего у трех или четырех из них отскочили плохо приклеенные головки. Эжен готов был провалиться сквозь землю. Лицо графини де Ресто стало холодным и сухим, глаза смотрели безразлично и избегали взгляда злосчастного студента.

– Мадам, – сказал он, – вам нужно поговорить с графом де Ресто, соблаговолите принять дань моего уважения и разрешите мне...

– Когда бы вы ни пришли, – поспешно заговорила графиня, жестом остановив Эжена, – вы можете быть уверены, что доставите огромное удовольствие и мне, и графу де Ресто.

Эжен низко поклонился супружеской чете и вышел; граф де Ресто последовал за ним и, несмотря на настояния Эжена не делать этого, проводил его до самой передней.

– Когда бы ни явился господин де Растиньяк, ни графини, ни меня нет дома, – сказал граф Морису.

Выйдя на крыльцо, Эжен увидел, что идет дождь.

«Ну-с, я допустил какую-то неловкость, но ни причины, ни значения ее не понимаю, – подумал Эжен, – а в довершение всего испорчу фрак и шляпу. Сидеть бы мне в своем углу да зубрить право и думать только о том, как бы стать прилежным судейским чиновником. Мне ли бывать в свете! Ведь для того, чтобы вращаться в нем приличным образом, необходима уйма всякой всячины: кабриолеты, сверкающие сапоги, золотые цепочки и прочая обязательная оснастка, вроде белых замшевых перчаток по утрам, шесть франков пара, а по вечерам непременно желтых. Старый плут папаша Горио, эх!»

Когда он очутился под воротами, кучер наемной кареты, должно быть, только что доставивший новобрачных к ним на дом и не желавший ничего другого, как получить тайно от хозяина плату за несколько концов, знаком предложил услуги Растиньяку, увидав, что тот во фраке, в белом жилете, желтых перчатках, чистых сапогах, но без зонтика. Эжена обуревала глухая ярость, которая обычно толкает молодого человека еще глубже в пропасть, куда он уже начал спускаться, точно надеясь там отыскать благополучный выход. Эжен кивнул

головой на предложение кучера и сел в карету, где несколько цветочков флердоранжа и обрывков канители напоминали о поездке молодых.

– Куда прикажете? – спросил кучер, уже сняв белые перчатки.

«Черт побери, – решил Эжен, – коль пропадать, так не напрасно!»

– К де Босеанам! – добавил он громко.

– К каким? – спросил кучер.

Высоковажный вопрос смутил Эжена. Этот еще не оперившийся щеголь не знал, что было два особняка де Босеанов, и не имел понятия, насколько он богат родней, которой не было до него никакого дела.

– К Босеанам, на улицу...

– Гренель, – подхватил кучер, мотнув головой. – А то есть другой особняк – графа и маркиза де Босеанов, на улице Сен-Доминик, – добавил он, поднимая подножку.

– Знаю, – сухо ответил Эжен.

«Сегодня все издеваются надо мной! – сказал он про себя, бросая цилиндр на переднее сиденье. – Вот это баловство мне обойдется дорого. Но я, по крайней мере, нанесу визит так называемой кузине вполне по-аристократически. Старый злодей папаша Горио мне уже стоит не меньше десяти франков, честное слово! Опишу-ка я свое приключение госпоже де Босеан, – быть может, рассмешу ее. Она, конечно, знает тайну преступных связей этой бесхвостой старой крысы с красавицей графиней. Лучше понравиться моей кузине, чем расшибить себе лоб об эту безнравственную женщину, да и стоит она, как видно, немало денег. Если одно имя красавицы виконтессы имеет такую силу, – какое же значение должна иметь она сама? Прибегнем к высшим сферам. Когда атакуешь небеса, надо брать на прицел самого Бога!»

Эти разговоры с самим собой передавали вкратце тысячу мелочей и одну мысль, среди которых метался Растиньяк. Глядя на дождь, он немного успокоился и

почувствовал себя увереннее. Он говорил себе, что если истратит две драгоценные последние монеты по сто су, то не без пользы, сохранив в целости свои ботинки, фрак и цилиндр. Веселым чувством отозвался в нем возглас кучера: «Отворите ворота, будьте любезны!» Красный с золотом швейцар толкнул ворота, петли заскрипели... и Растиньяк со сладостным удовлетворением наблюдал, как его карета миновала въезд, объехала кругом двора и остановилась под навесом у крыльца. Кучер, в грубом синем балахоне с красной оторочкой, слез, чтобы откинуть подножку. При выходе из кареты Эжен услышал приглушенные смешки из-за колонн особняка. Три или четыре лакея уже подшучивали над свадебным мещанским экипажем. Студент только тогда уразумел их смех, когда сравнил этот рыдван с двухместной каретой, одной из самых щегольских в Париже: в запряжке пара горячих лошадей с розами на ушах грызла удила; кучер, в пудре, в отличном галстуке, натянул вожжи, как будто лошади вот-вот готовы были вырваться. На Шоссе-д'Антен, во дворе графини де Ресто, стоял изящный кабриолет двадцатилетнего молодого человека; в предместье Сен-Жермен знатного вельможу ждала роскошная карета, какой не купишь и за тридцать тысяч франков.

«Кто же это? – мысленно спросил Эжен, с некоторым опозданием сообразив, что в Париже, конечно, мало женщин, никем не занятых, и завоевание одной из этих королев стоит не только крови. – Черт побери! Наверняка и у моей кухни есть свой Максим».

С замиранием сердца Эжен поднялся на крыльцо. При появлении его стеклянная дверь распахнулась: он увидел лакеев, степенных, какими бывают ослы, когда их чистят. Парадный бал, на котором присутствовал Эжен, давался в больших покоях для приемов, занимавших нижний этаж особняка де Босеанов. Не успев сделать визит кухне в промежуток времени между приглашением и балом, он еще не побывал в комнатах самой виконтессы де Босеан, где предстояло ему впервые увидеть чудеса ее личного изящества, говорящего о душе и жизни знатной женщины. Знакомство с ним представляло для Эжена тем больший интерес, что гостиня графини де Ресто давала ему меру для сравнения. С половины пятого виконтесса принимала. Явись ее кузен на пять минут раньше, она бы его не приняла. По белой широкой, уставленной цветами лестнице с золочеными перилами и красною дорожкой Эжена, ничего не понимавшего в различиях парижского этикета, провели к г-же де Босеан; он не знал ее изустной биографии, одной из вечно меняющихся повестей, какие в парижских гостиных рассказывают на ухо друг другу каждый вечер.

Виконтесса уже три года была в связи с маркизом д'Ажуда-Пинто, принадлежавшим к числу самых известных и богатых вельмож Португалии. Их связь, одна из самых безупречных, представляла столько прелести для обоих участников ее, что они не терпели третьих лиц. И виконт де Босеан сам дал пример всем окружающим, волей-неволей признав их морганатический союз. В первый период этой дружбы все, кто приезжал повидаться с виконтессой около двух часов дня, встречали там маркиза д'Ажуда-Пинто. Закрывать свой дом для них г-жа де Босеан, конечно, не могла – это было бы неприлично, но принимала своих гостей так холодно и так старательно разглядывала потолок, что всякий понимал, насколько он здесь некстати. Когда Париж узнал, что посещения от двух до четырех тяготят г-жу де Босеан, она осталась в полнейшем одиночестве. Вместе с г-ном де Босеаном и маркизом д'Ажуда-Пинто она бывала в Опере или у Буффонов, но г-н де Босеан умел вести себя, – усадив жену и португальца, он оставлял их наедине. Теперь маркиз д'Ажуда-Пинто собирался жениться на мадемуазель де Рошфид. И во всем высшем свете единственным лицом, еще не знавшим о предстоящем браке, была сама г-жа де Босеан. Кое-кто из ее приятельниц делал ей намеки, – она только смеялась, видя в этом намерение из зависти нарушить ее счастье. Между тем вскоре должно было состояться оглашение. Португальский красавец приехал к виконтессе объявить ей об этом браке, но у него все не хватало смелости произнести слова измены. Почему? Да нет ничего труднее, как нанести женщине такой удар. Для иного мужчины легче стоять на месте поединка, перед другим мужчиной, готовым вонзить шпагу ему в сердце, чем перед женщиной, которая, после двух часов слезливых жалоб, с видом умирающей требует нюхательной соли.

В момент прибытия Эжена маркиз д'Ажуда-Пинто сидел как на иголках и собирался уходить, решив, что г-жа де Босеан так или иначе узнает эту новость, а лучше всего – он ей напишет: нанести любви смертельный удар гораздо удобнее в письме, чем в личном разговоре. Когда лакей виконтессы доложил о Растиньяке, маркиз д'Ажуда-Пинто радостно встрепенулся. Надо сказать, что любящая женщина по части всяких подозрений еще изобретательнее, чем в искусстве разнообразить удовольствия. Когда же ей грозит разрыв, она угадывает смысл какого-нибудь жеста быстрее, чем конь, упоминаемый Вергилием, способен чують где-то вдалеке запах, обещающий ему любовные утехи. И будьте уверены, что г-жа де Босеан почувствовала в маркизе этот невольный, едва заметный, но страшный своею непосредственностью трепет. Эжен не знал одной особенности Парижа: кому бы вы ни представлялись, вам совершенно необходимо перед этим получить от друзей дома все сведения о жизни мужа, жены, даже детей, иначе вы попадете впросак, или, как образно говорят поляки, вам придется запрячь в телегу пять волов, – конечно, для того,

чтобы они вас вытащили из лужи, в которую вы сели. Если во Франции такие речи невпопад не имеют особого названия, то, несомненно, потому, что их считают невозможными в стране, где любая сплетня получает огромное распространение. Только Эжен, уже сев один раз в лужу у графини де Ресто, даже не давшей ему времени «запрячь телегу в пять волов», способен был опять почувствовать нужду в их помощи, явившись представиться г-же де Босеан. Но в первом случае он страшно тяготил г-на де Трай и графиню де Ресто, теперь же выводил из затруднения маркиза д'Ажуда-Пинто.

– Прощайте, – сказал португалец, устремляясь к двери, пока Эжен входил в небольшую нарядную, серую с розовым, гостиную, где роскошь обстановки казалась лишь изяществом.

– Но до вечера? – спросила г-жа де Босеан, оборачиваясь только лицом и вглядываясь в маркиза. – Разве вы не поедете к Буффонам вместе с нами?

– Не могу, – ответил он, берясь за ручку двери.

Госпожа де Босеан встала и подозвала его к себе, не обращая никакого внимания на Растиньяка, который между тем стоял, ошеломленный сверканием чудесного богатства, готовый поверить в реальность арабских сказок, и не знал, куда ему деваться перед женщиной, его не замечавшей.

Виконтесса подняла указательный пальчик и, красиво опустив его, указала маркизу место перед собой. В этом жесте заключалась такая деспотическая сила страсти, что маркиз выпустил дверную ручку и подошел. Эжен смотрел на него с завистью.

«Вот он, владелец маленькой кареты. Так неужели для того, чтобы добиться взгляда парижанки, надо иметь ретивых лошадей, ливреи и горы золота?»

Демон роскоши уязвил его сердце, лихорадка наживы овладела им, от жажды золота пересохло в горле. Эжен располагал ста тридцатью франками на три месяца. Его отец, мать, братья, сестры, тетка могли тратить лишь двести франков в месяц на всю семью. Это быстрое сопоставление своего теперешнего положения и цели, которой надобно достичь, усилило его растерянность.

– Почему же вы не можете приехать к Итальянцам? – смеясь, спросила виконтесса.

– Дела! Я обедаю у английского посланника.

– Бросьте дела!

Когда человек вступил на путь обмана, он неизбежно вынужден нагромождать одну ложь на другую. Маркиз д'Ажуда засмеялся и сказал:

– Вы требуете?

– Да!

– Вот это и хотелось мне услышать, – отвечал маркиз, бросив на нее такой проникновенный взгляд, который мог бы успокоить всякую другую женщину. Он поцеловал руку виконтессы и вышел.

Эжен, пригладив волосы рукой, согнулся в поклоне, думая, что г-жа де Босеан наконец вспомнит и о нем. Вдруг она вскакивает с места, бросается в галерею, подбегает к окну и смотрит, как д'Ажуда садится в экипаж, она ловит ухом, куда велит он ехать, и слышит, как выездной лакей повторяет кучеру его слова:

– К господину де Рошфиду.

Эти слова, быстрота, с какой маркиз вскочил в карету, были для женщины и вспышкой молнии, и ударом грома; смертельный страх вновь обуял ее. В высшем свете не бывает иного проявленья самых ужасных катастроф. Виконтесса пошла в спальню, села к столу, взяла изящный листок бумаги и написала:

«Раз вы обедаете не в английском посольстве, а у Рошфидов, вы обязаны дать мне объяснение. Жду вас».

Она поправила несколько букв, пострадавших от конвульсивного дрожания руки, подписалась «К.», что означало «Клара Бургундская», и позвонила.

– Жак, – обратилась она к представшему перед ней лакею, – в половине восьмого вы пойдете к господину де Рошфиду и спросите, там ли маркиз д’Ажуда. Если он там, вы попросите только передать ему эту записку, не требуя ответа. Если же маркиза там нет, то вы вернетесь и принесете мне письмо обратно.

– Виконтессу ожидают в гостиной.

– Ах, верно! – сказала она, отворяя дверь.

Эжен начинал чувствовать себя крайне неловко; к счастью, виконтесса наконец явилась и произнесла с таким волнением в голосе, что у Эжена защемило сердце:

– Простите, мне надо было написать два слова, теперь я вся к вашим услугам.

Она не сознавала, что говорит, думая в это время: «Он хочет жениться на мадемуазель де Рошфид. Но разве он свободен? Сегодня же вечером этот брак расстроится, или я... Да! Завтра об этом не будет даже речи».

– Кузина... – начал Эжен.

– Что?! – переспросила виконтесса, бросая на него надменный взгляд, от которого студент похолодел.

Эжен понял это «что». За последние три часа он научился многому и держался начеку.

– Мадам, – поправился Эжен, краснея; он замялся, но поборол смущение и продолжал: – Простите меня: я так нуждаюсь в покровительстве, что малая толика вашей родственности мне бы ничуть не повредила.

Госпожа де Босеан грустно усмехнулась; на ее горизонте уже слышались раскаты грозы.

– Если бы вы знали положение моей семьи, – продолжал Эжен, – вы бы не отказались от роли тех сказочных фей, которые так любезно устраняли

препятствия с пути своих крестников.

– Ну, хорошо, кузен, – ответила она, смеясь, – чем же я могу быть вам полезной?

– Как знать! Быть для вас своим человеком благодаря родству, затерянному во мраке отдаления, это уже счастье. Вы меня смутили, я позабыл, что? собирался вам сказать. Вы единственный человек, с которым я знаком в Париже. Как бы мне хотелось посоветоваться с вами, просить вас подобрать меня, жалкого ребенка, мечтающего приютиться под вашим крылышком и ради вас готового пойти на смерть.

– А вы могли бы кого-нибудь убить ради меня?

– Хоть двух.

– Ребенок! Да, вы ребенок, – сказала она, удерживая наворачнувшиеся слезы. – Вот вы, пожалуй, могли бы любить искренне!

– О да! – воскликнул он, кивая головой.

За этот ответ виконтесса прониклась участием к студенту-честолюбцу. Южанин впервые действовал с расчетом. За то время, пока он находился между голубым будуаром графини де Ресто и розовой гостиной г-жи де Босеан, Эжен успел пройти трехлетний курс парижского права, хотя негласного, но составляющего всю высшую общественную юриспруденцию, а хорошо ее усвоив и умело применяя на практике, можно достичь всего.

– Да, вспомнил! – сказал Эжен. – У вас на балу мне понравилась графиня де Ресто, и я был у нее сегодня днем.

– И, наверно, сильно помешали ей, – с усмешкой заметила г-жа де Босеан.

– Я невежда и, если вы откажете мне в помощи, восстановлю против себя всех. Думаю, что в Париже трудно встретить женщину молодую, красивую, изящную, богатую и в то же время никем не занятую, а мне она необходима, притом такая, которая могла бы научить меня тому, что вы, женщины, умеете преподавать так хорошо, – науке жизни. Всюду я натолкнусь на какого-нибудь графа де Трай. Я и

пришел к вам с просьбой разрешить мне загадку и объяснить, какого рода глупость я там сделал. Я завел разговор о некоем папаше...

- Герцогиня де Ланже, - доложил Жак, прервав Эжена.

Студент выразил ужимкой крайнюю досаду.

- Если вы желаете иметь успех, - заметила, понизив голос, виконтесса, - прежде всего не будьте так непосредственны. - А! Добрый день, дорогая, - сказала она, встав и идя навстречу герцогине; затем пожала ее руки с такой сердечностью, точно встречала свою сестру; герцогиня ответила ей самыми очаровательными изъявлениями нежности.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Жоффруа Сент-Илер Этьенн (1772-1844) - естествоиспытатель, кумир Бальзака; именно он выдвинул ту дорогую сердцу Бальзака теорию, согласно которой «есть только одно живое существо», которое «получает свою внешнюю форму или, точнее говоря, отличительные признаки этой формы в той среде, где ей назначено развиваться».

2

Сен-Марсо – парижский квартал на левом берегу Сены, один из беднейших кварталов Парижа.

3

В стенах города и за его стенами (лат.).

4

...между холмами Монмартра и пригорками Монружа... – то есть между северной и южной окраинами Парижа.

5

Идол Джагернаут – статуя индийского бога Вишну; во время ежегодных процессий ее возили на колеснице, и верующие бросались под ее колеса, чтобы в новой жизни перейти в высшую касту.

6

Все правда (англ.). – цитата из трагедии Шекспира «Генрих VIII».

7

Валь-де-Грас – парижский госпиталь; Пантеон – здание, строившееся во второй половине века как церковь Святой Женевиевы, но во время Революции превращенное в усыпальницу великих людей; при Наполеоне возвращено католической церкви, а после Июльской революции 1830 г. было провозглашено храмом Славы.

8

Туаз равнялся 1,9 м.

9

Кто б ни был ты, о человек... – Это двустишие, сочиненное Вольтером, характерно для французской легкой поэзии XVIII века, в которой амуры и любовь играли главную роль.

10

«Телемак» (изд. 1699) – нравоучительный роман французского проповедника Фенелона.

11

Кенкеты – масляные лампы, усовершенствованные в 1782 г. женеvским физиком и химиком Арганом.

12

Жан-Шарль Пишегрю (1761–1804) и Жорж Кадудаль (ум.1804) – монархисты, готовившие покушение на жизнь Бонапарта; оба были выданы полиции доносчиками; генерала Пишегрю удавили в тюремной камере, выходца из крестьян Кадудалья казнили.

13

В Сальпетриерер в 1819 году, когда происходит действие романа, располагалась клиника для душевнобольных, а четырьмя годами позже здесь устроили женскую богадельню; Бурб (от фр. bourbe – грязь) – народное название одного из парижских родильных домов.

14

...сынов Иафета... – Описка Бальзака: на самом деле он имел в виду не сынов библейского героя, сына Ноя Иафета, а «дерзостных сынов Иапета» (строка из оды Горация «К кораблю Вергилия», в которой упомянут герой греческого мифа, один из титанов, отец Прометея).

15

Итальянский бульвар – место прогулок завзятых модников.

16

Бертран и Ратон – персонажи басни Лафонтена, хитрая обезьяна и кот, таскающий для нее каштаны из огня; в 1833 г. была поставлена комедия Э. Скриба «Бертран и Ратон», где тот же сюжет разыгрывается уже не между животными, а между людьми.

17

«Глория» – кофе с водкой.

18

Макуба – табак с острова Мартиника.

19

Шуази... Жантильи... – В этих деревнях в окрестностях Парижа было много кабачков, где любили отдыхать незнатные жители столицы.

20

Квартал Марэ имел репутацию места, где живут люди из старинных дворянских родов, крайне прижимистые, старомодные и чопорные. Для вдовы Воке получить жильцов из Марэ было весьма престижно.

21

«Беф-а-ла-мод» (дословно «Модный бык», или «Говядина, приготовленная по моде») – название ресторана в центре Парижа, на вывеске которого был изображен бык в шали и шляпке.

22

Коллеж де Франс – действовавшее в Париже с XVI века высшее учебное заведение, где прославленные ученые и мыслители читали публичные лекции для всех желающих.

23

В театре Одеон и танцевальной зале Прадо устраивались публичные балы.

24

Сен-Жерменское предместье – аристократический квартал в центре Парижа, на левом берегу Сены, напротив Лувра.

25

«Оссиановские лица» – печальные и задумчивые; под именем кельтского барда Оссиана шотландский поэт Джеймс Макферсон в 1760 г. создал сборник поэм, туманный колорит и меланхолические интонации которых довольно скоро стали очень популярны в Европе.

26

Буффоны – обиходное название Итальянской оперы, самого изысканного из парижских театров.

27

Шоссе-д'Антен – квартал на правом берегу Сены, где селились банкиры и деловые люди.

28

...выставят на площади Дворца правосудия... – Имеется в виду выставление у позорного столба – наказание, которое во Франции было отменено только в 1848 г.

29

Разница между панорамой и диорамой состояла в том, что в первой зрители оставались неподвижны, а полотно с изображением постепенно разворачивалось перед их глазами; напротив, в диораме неподвижным было полотно (картина на обеих сторонах прозрачной ткани), двигался же источник света. В реальности первая диорама была открыта в 1822 г., то есть на три года позже того момента, когда происходит действие романа.

30

В пятки (лат.).

31

Орас Бьяншон действует в 29 произведениях «Человеческой комедии», выступая, как правило, рассказчиком или доверенным лицом главного героя.

32

Немецкий естествоиспытатель Франц Иосиф Галль (1758–1828) создал френологию – науку об определении черт характера по форме черепа.

33

«И розой прожила...» – цитата из хрестоматийно известного стихотворения Франсуа Малерба «Утешение г-на Дюперье» (1598).

34

Французская Индийская компания была создана во второй половине XVII века для торговли с Индией, Китаем и Сенегалом; ликвидирована Конвентом в 1793 г., причем комиссары, занимавшиеся ликвидацией, были, как выяснилось впоследствии, замешаны в крупных денежных спекуляциях.

...могут служить замечательным громоотводом. – Эту женскую уловку Бальзак описал шестью годами раньше в своей «Физиологии брака» (1829), в главе «Основы стратегии»: «...возвращаясь домой, муж осведомляется у привратника: «У нас кто-нибудь был?» – «Около двух заезжал господин барон; он хотел повидать вас, сударь, но, узнав, что вас нет дома, не стал заходить, а вот господин такой-то и теперь наверху». Вы входите в гостиную и застаёте жену в обществе юного холостяка, разряженного, надушенного, щеголяющего безупречно повязанным галстуком, – одним словом, истинного денди. Он держится с вами почтительно, жена ваша в его отсутствие украдкой прислушивается – не идет ли он, а когда он приходит, танцует с ним одним; если вы запрещаете ей с ним видеться, она приходит в негодование, и лишь много лет спустя вы обнаруживаете безгрешность господина такого-то и виновность барона».

Милый, оставь сомненья! (итал.)

Купить: <https://telnovel.com/onore-balzak/otec-gorio-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)